

INSPIRIA

ЛАРС МИТТИНГ

# ШЕСТРИНЫ КОЛОКОЛА



INSPIRIA

Loft. Скандинавский роман

Ларс Миттинг

**Сестрины колокола**

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.113.5-31  
ББК 84(4Нор)-44

**Миттинг Л.**

Сестрины колокола / Л. Миттинг — «Эксмо», 2018 — (Loft.  
Скандинавский роман)

ISBN 978-5-04-181565-3

Захватывающий эпический роман — бестселлер № 1 в Норвегии. Увлекательная история норвежской культуры, суровой жизни сельских жителей и легенда о двух колоколах. Сколько люди себя помнят, колокола деревянной церкви звонили над затерянной деревней Бутанген в Норвегии. Говорят, иногда они звонят сами по себе, предвещая беду. Юная Астрид отличается от других девушек в деревне. Она мечтает о жизни, которая состоит не только из брака, рождения детей и смерти, поэтому у нее есть свой план на жизнь. Но с приездом молодого пастора Кая Швейгорда все меняется. Кай хочет снести старую церковь с ее изображениями языческих божеств и сверхъестественными колоколами и уже связался с Академией художеств в Дрездене, которая направляет в Бутанген своего талантливого студента-архитектора Герхарда Шёнауэра. Астрид должна принять решение. Выбирает ли она свою родину и пастора или ее ждет неопределенное будущее в Германии. Вдруг она слышит звон колоколов...

УДК 821.113.5-31

ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-04-181565-3

© Миттинг Л., 2018

© Эксмо, 2018

## Содержание

Повесть первая. Внутренние территории	8
Две девочки в одной коже	8
Деревянная церковь	11
Серебряный звон	14
Утлая лодчонка в бурном море	24
План	27
Тайна детей гор	33
Церковные колокола будут звонить, как звонили	37
Божий перст указал на Норвегию	43
Своя зимняя птица	52
Рассыпавшиеся в прах столетия	56
Слово с подковыркой	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# Ларс Миттинг

## Сестрины колокола

*Посвящается моей матери*

*– И здесь тоже был один из мрачных уголков Земли, – сказал вдруг  
Марлоу.  
Джозеф Конрад'*

Lars Mytting  
SISTERSKLOKKENE

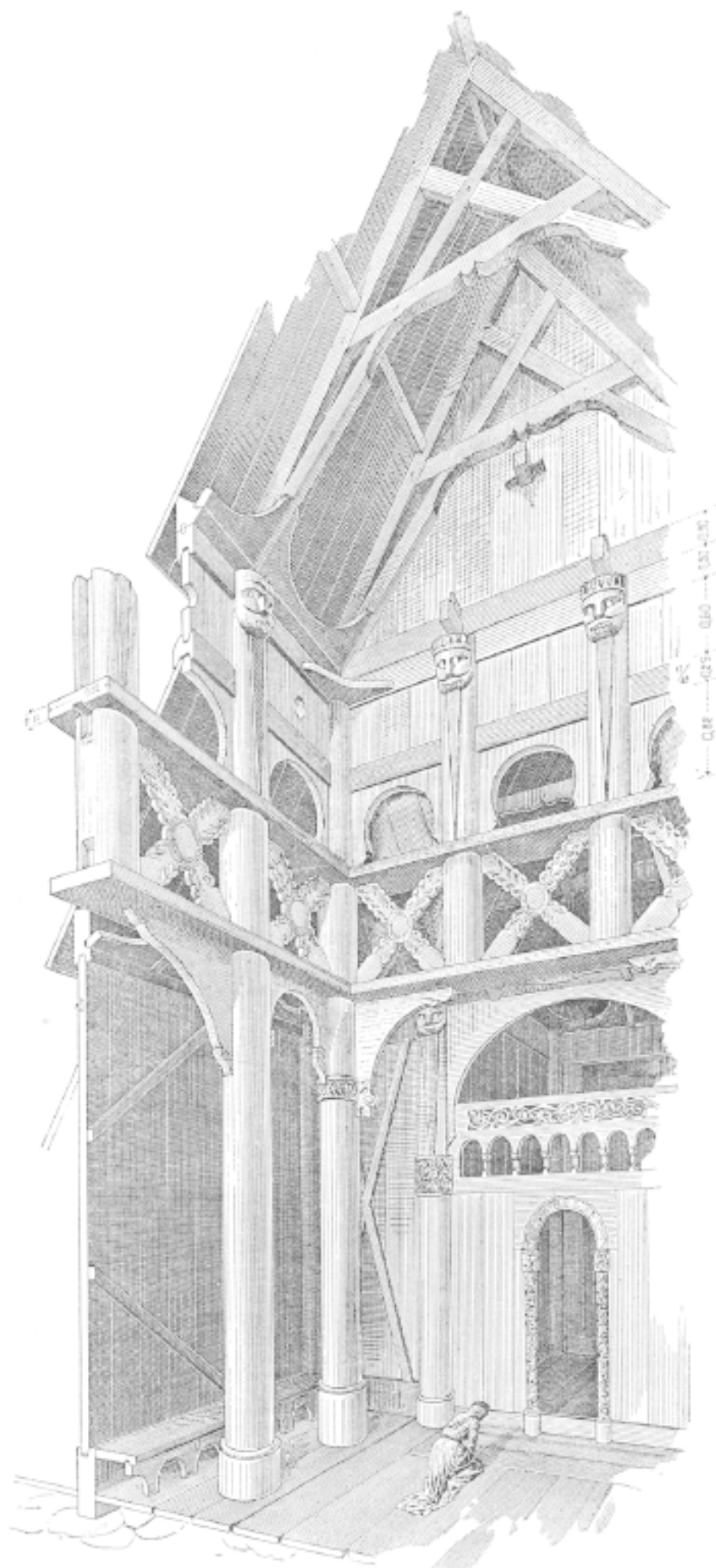
© 2018 Lars Mytting

Originally published in Norwegian by Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo

Published by agreement with agentur literatur gudrun hebel, Berlin

© Ливанова А., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2023





## Повесть первая. Внутренние территории

### Две девочки в одной коже

Роды оказались трудными. Может, самыми трудными на свете, и это в селе, где роженицам и всегда-то приходилось несладко. Живот был большой, но о том, что мать носила двойню, догадались только на третий день с начала схваток. Как прошло разрешение от бремени, как долго меж бревенчатых стен отдавались эхом крики и каким образом суетившимся вокруг женщинам удалось извлечь детей – все это забылось. Такое и рассказывать неприятно, и вспоминать жутко. Мать порвалась и истекла кровью, и предание не сохранило ее имени. Зато навсегда запомнился изъяз у близнецов: с одного бока они срослись от бедер до ступней.

Но и все. А так – дышали, кричали, и с головой у них было все в порядке.

Родители их были с хутора Хекне, так что девочек окрестили Халфрид и Гунхильд Хекне. Росли они дружными, много смеялись – словом, одна радость, а не огорчения. Радость отцу, братьям и сестрам, односельчанам. Сестер Хекне сызмальства научили ткать, и они просиживали у станка дни напролет. Четыре ручонки согласно сновали между нитями основы и утка, да так споро, что и не уследишь, чья рука продела пряжу в нужное место на полотне. Узоры у них выходили удивительно красивыми, часто загадочными, и работы их выменивали за серебро или домашний скот. В те времена и не думали как-то пометать рукоделие, так что позже многие готовы были дорого платить за хекнеское ткачество, даже не будучи уверенными, что это не подделка. На самом известном полотне сестер Хекне изображена была Скреженощь – так местные жители представляли себе Судный день, унаследовав от предков и переименовав Рагнарок, древние северные пророчества о гибели богов. Мол, море огня превратит ночь в день, и на рассвете, когда все сгорит дотла и снова воцарится тьма, живые и мертвые вереницей потянутся по оголенной, ободранной до скального основания земле на суд. Полотно отдали в церковь, где оно и висело на памяти нескольких поколений, пока не пропало как-то ночью при запертых дверях.

Сестры редко покидали хутор, хотя передвигаться им было совсем не так трудно, как можно было подумать. Они ходили как бы на три счета, будто вместе несли ведро, до краев наполненное водой. Чего им не удавалось преодолеть, так это подъема на пути к дому. Хекне стоял на крутой горе, и зимняя гололедица была для сестер смертельно опасна. Но хутор располагался на солнечной стороне, земля рано появлялась из-под снега, часто уже в марте, и сестры выходили во двор в одно время с весенним солнышком.

Хутор Хекне отстроили в этих краях одним из первых, а потому он оказался и одним из лучших. Семье принадлежали два летних пастбища в горах, а на Большом выпасе пощипывало сочную травку стадо упитанных коров. От хутора было всего ничего ходу до богатого рыбой озера Нижнего ущелья, где стоял лодочный сарай, сложенный из девятидюймовых бревен. Но истинной мерой зажиточности было в Гудбрандсдале серебро. Это был своеобразный банковский счет крестьянина, его наглядный и подручный резерв. Хутор и звался хутором был недостоин, если у владельцев не было серебряных приборов на восемнадцать персон. Торговля же тканями коврами принесла Хекне серебра на тридцать комплектов.

\* \* \*

Когда близняшки из Хекне стали подрастать, одна из них заболела. Мысль о том, чем это может кончиться – что выжившая будет таскать на себе тело сестры, – была нестерпима их отцу, Эйрику Хекне, и он отправился в церковь молить о ниспослании им смерти одновременно.

Его услышал пастор, и, вероятно, Бог тоже. Смерть пришла к девочкам в один и тот же день, и, предчувствуя кончину, они потребовали оставить их наедине. Отец и остальные дети ждали за дверью. Им слышно было, что девочки обсуждают, как лучше завершить какое-то важное дело. В этот день они закончили ткать Скреженошь. Начинали они эту работу вместе, и Гунхильд собиралась все доделать, когда Халфрид умрет и от ее рук помощи уже не будет. Отец не беспокоил их во время работы, потому как сестер окутывала аура некой значительности, коей ни ему, ни другим, жившим вровень с камнями и водой, было не дано понять. Ближе к ночи из-за двери послышался кашель, а потом стук упавшего на пол бёрдо.

Хуторяне вошли в светелку и увидели, что Гунхильд вот-вот умрет. Сама она, похоже, их не заметила; прижалась лицом к сестре и сказала:

– Ты снуешь широко, я сную близенько; когда коврик соткан будет, обе мы вернемся в люди.

Затем притянула руки Халфрид к себе, зажав ее пальцы в своих, приникла к сестре, и так они и лежали со сплетенными пальцами подобно тому, как сплетаются голоса в единой молитве.

Новые поколения расходились во мнении о том, что имела в виду Гунхильд. Ее слова, прозвучавшие на диалекте, толковали по-разному. Сновать – значит и продевать пряжу в основу, и быстро двигаться. Когда их рукоделие отнесли в церковь, пастор записал последние слова Гунхильд с оборотной стороны рамы, на которой закрепили ткань. Но письменный язык не мог объять широты диалекта, и фраза получилась какой-то убогой: ты пойдешь далеко, я пойду рядом, и когда мы доткнем ткань, обе вернемся назад.

Похоронили девочек под полом в церкви, и в благодарность за то, что им даровано было умереть вместе, Эйрик Хекне заказал отлить два колокола для церкви. Их стали называть Сестринными колоколами, и звук у них был бесподобно мощный и глубокий. Звон разносился далеко от деревянной церкви, заполняя всю долину, двигался ввысь по горам и отражался от крутых уступов. Когда озеро Лёснес, рядом с которым стояла церковь, сковывало льдом, колокола слышно было в трех ближайших селах – они звучали как слабый перезвон с колоколами их собственных церквей, а некоторые утверждали, что иногда ветер доносил раскаты колокольного звона и до горных пастбищ.

Первый звонарь оглох, отзвонив три службы. Пришлось сколотить помост в самом низу колокольни, там он и становился, залепив уши пчелиным воском и замотав голову и уши полоской кожи.

В звуках Сестринных колоколов не было ничего мрачного или пугающего. Каждый удар исходил из самой сердцевины обещанием несущей лучшую жизнь весны и долго раскатывался мелодичными перезвонами. Эти звуки проникали глубоко в сердце, навевая светлые образы, задевая потаенные струны огрубевших душ. В руках умелого звонаря колокола обращали сомневающихся в примерных прихожан. Объясняли же могущество звона Сестринных колоколов тем, что отлиты они из звонкого металла. В те времена этими словами обозначали серебро, которое по дорого обходившемуся обычаю бросали в расплавленный для отливки колоколов металл. Чем больше серебра, тем красивее звон.

Хитроумные литейные формы, да и вся бронза, уже стоили Эйрику Хекне целого состояния; он отдал за них больше, чем его дочери выручили за свои тканые картины. В беспамятстве горя он подошел к литейному чану и бросил туда все серебряные приборы, а потом, опустошив

карманы, швырнул в кипящий сплав две пригоршни серебряных далеров, и они удивительно долго расплывались по поверхности литья, пока не ушли на дно, расплавившись, а на их месте показались пузыри.

\* \* \*

Впервые о том, что Сестрины колокола предвещают беду, заговорили во время постигшего долину гигантского паводка. Снег стаял внезапно и угрожающе, по-летнему черное небо давило и мучило головной болью, и в ночь, когда река вышла из берегов, сельчан разбудил звон церковных колоколов. Зарядил дождь, и хуторяне едва успели покинуть свои дома до того, как их унесло водой. Кряжистые рубленые строения переворачивало вверх тормашками, бушующий поток швырял как прутики бревна из срубов. По озеру Лёснес плыли тяжелые белые комы, глубоко сидевшие в воде, – овцы. Только потом, когда люди прямо под дождем принялись пересчитывать друг друга и всю семью звонаря тоже посчитали, выяснилось, что звонарь к церкви даже не приближался. Пастор пошел проверить, что там такое, и оказалось, что дверь в церковь все время оставалась запертой.

Эйрика к тому времени давно не было в живых. Никому не ведомо, пожалел ли он когда-нибудь о том, что расплавил серебро, но так много этого добра ушло на Сестрины колокола, что хутор не раз оказывался на грани продажи за долги. Была бы возможность разделить Хекне на Верхний и Ближний хутора, так бы и поступили, но участки тогда оказались бы слишком маленькими, к тому же один из них располагался на слишком крутом склоне. В последующие годы два мелких хозяйства в Нижнем ущелье, сдававшиеся в аренду, и Большой выпас забрал в казну судебный пристав, так что за расточительность Эйрика Хекне заплатили его потомки. Кое-что семье все же удалось сохранить; у наследников подрастали свои наследники, и у каждого было собственное мнение об основателе рода. Мало кто считал церковные колокола лучшим вложением серебра: уж лучше бы оно пошло на нужды полей и скотных дворов. Как бы то ни было, эта история служила напоминанием о том, что тяжелый труд сносить легче, чем горе. Каждое воскресенье до хутора доносился утоляющий печали звон колоколов, которые Эйрик по праву называл Дочерними; это название умерло вместе с ним.

## Деревянная церковь

Сестрины колокола исправно звенели над селом. Они звонили для живых, для умирающих и умерших, оповещали о венчаниях, крестинах и конфирмациях, о рождественской службе, а когда и о лесном пожаре, наводнении или оползне. В селе редко появлялись новые жители, редко кто покидал его; уехавшие никогда не возвращались, и, будучи детьми, многие думали, что все церковные колокола звучат так же, как Сестрины; так люди, живущие с видом на величественный пейзаж, не замечают в нем ничего особенного.

Колокола висели себе на колокольне, пока в 1880 году вместе со всем селом не были по произволу амбиций ввергнуты в водоворот резких перемен. Одному из колоколов суждено было оказаться под водой, а потом быть поднятым из нее, и оказалось, что единственным человеком, сумевшим повлиять на судьбу колоколов, была юная девушка из рода Хекне. Принесенная ею жертва была не меньшей, чем жертва родителей сестер Хекне, но она принесла ее втайне, и долгое время только один человек помнил о ее поступке. Ведь чтобы сохранить о ней память, требовалось понять, что ею двигало, а для этого нужно было знать предысторию деревянной церкви, прихожанкой которой была девушка, и самого села.

Жители Хекне ходили на службы в церковь села Бутанген, расположенного в узкой пади между Фовангом и Треттенгом. В те времена село состояло примерно из сорока хуторов и насчитывало около тысячи душ вместе с арендаторами. Название села истолковывали каким-то запутанным образом, но рассказывать об этом доводилось нечасто, поскольку до этих краев добирались немногие. Между ведущей дальше в горы грунтовой дорогой и селом располагалось узкое, но длинное и глубокое озеро Лёснес с крутыми скалистыми берегами, поросшими лесом. Бутанген, то есть «жилая коса», получил такое название, поскольку являлся единственным местом на озере, где берег был достаточно ровным, чтобы можно было хоть что-нибудь построить. Постоянно здесь никто не жил, но раз уж тут располагался сарай для лодок и пристани и оттуда же зимой осуществлялись перевозки по льду, то и все село называли так же. Саму церковь возвели выше по склону, отчасти ради того, чтобы ее было видно издали, но еще и потому, что после несчастья в Фованге люди знали, каких дел сильный паводок может натворить с церковным кладбищем.

Крестьянские семьи крепко держались за те клочки земли на склонах долины, которые их предки объявили своими. Некоторые хутора стояли на таких крутых и каменистых откосах, что за три поколения члены семьи едва успевали расчистить три небольших участка под посадки. Зато каменные изгороди возводили настолько высокими, что в Бутангене волкам не досталось ни единой овечки.

Изменения происходили исподволь. Село лет на двадцать отставало от соседних, которые, в свою очередь, лет на тридцать отставали от городских поселков Норвегии, отставшей от остальной Европы еще на пятьдесят. Одной из причин была почти непроходимая местность. Любопытным, если таковые объявлялись, требовалось выбрать тот берег реки Лауген, вдоль которого шел путь на север, а добравшись до фовангской церкви, если им удавалось ее найти и если у них еще не пропадало желание увидеть Бутанген, нужно было подняться по склону долины и двинуться по тропинке на дне расселины до хутора Уксхоль. Дальше тропинка шла по каменной осыпи и была практически невидима глазу. Большинство забирали там влево и оказывались в долине Уксхольдал, где никакого жилья не было. Только если свернешь вправо в определенном месте, перед тобой откроется вид на Бутанген, с церковью на склоне и лежащими окрест хуторами. Но прежде глаз путников обозревал глубокое-преглубокое озеро Лёснес и коварные Лёснесские болота. На этом месте почти все поворачивали назад, а немногочисленные смельчаки сдавались позже, не отыскав тропы и оказавшись ближе к ночи по колено в трясине и настолько облепленными комарьем, что кожа походила на шерсть.

Единицам удалось обогнуть озеро Лёснес или посчастливилось встретить расставляющего снасти неразговорчивого сельчанина и уговорить его перевезти их на лодке. Добравшись до места или женились, или погибали от ножа. Но это, конечно, преувеличение: на самом деле жилось в Бутангене хорошо. В речку Брейю, проточившую эту долину, впадало множество ручейков, снабжавших хутора водой. Река и все ее бесконечные разветвляющиеся рукава, протекающие между солнечными, покрытыми пышной растительностью или скрытыми в таинственной тени берегами, сообщали местности какую-то неброскую прелесть. За последней резкой излучиной река мощным потоком вливалась в озеро Лёснес. Пусть склоны этой небольшой долины и были круты и недоступны, зато они защищали ее жителей от ветра и при этом не застили солнца. Если же ехать по ней дальше, можно пообщаться с жителями Бреккома и Имсдала, чаще всего кивнув им издали или приветственно помахав рукой.

К тому же отсюда легко и быстро добираться куда потребуется зимой. Когда озеро Лёснес сковывало льдом, по замерзшей реке и болотам можно катить вниз, к Фовангу. Жизнь сельчан шла в такт с полугодиями. Зимой ездили в гости, договаривались о свадьбах, заготавливали лемехи и порох. Кого-то тянуло в дальние края, но побывавшие в этих дальних краях сказывали, что и там у людей схожие заботы, только, может, справляются с ними чуть иначе, а ради этого стоит ли уезжать. Как ни крути, везде надо вкалывать, а вкалывать можно и дома, где помогут родные и знакомые.

Так уж повелось в этих местах, что чужакам не доводилось влить свои легковесные гены в скрытый характер жителей Гудбрандсдала. Здесь не то что у побережья, где неспешность природы разбавляли потерпевшие крушение моряки из Средиземноморья. В принявших их портах они на прощание оставляли в животах девчонок подарки – подарки, покидавшие эти животы в образе резвых детишек с угольно-черными волосами. Жители долины продолжали вести скрытую за каменными изгородями жизнь в неспешном ритме смены времен года. Каждый хутор обеспечивал собственные потребности, как отдельное государство, а склоны долины служили неприступной преградой, защищавшей от внешнего мира. Надежный барьер из строевых сосен укреплял веру в то, что лучше по старинке собирать мох, пока не упадешь замертво, чем менять что-то в своей жизни. Им было нипочем ходить по горам, преодолевая распутицу в дождь и слякоть; им нравилось разгрести снег, потому что это много легче, чем копать землю. Богатые хозяева не мешались с мелкой сошкой: в роду поколение за поколением держались за свой хутор. Время не играло никакой роли: начатую умершим членом семьи работу продолжали живые, зная, что потом за нее возьмется кто-нибудь из еще не рожденных. Насыпи из камней, которые начали складывать далекие предки, росли все выше, и потомки использовали те же приемы работы, а то и ту же тачку. Все это выкристаллизовалось в особую манеру говорить, держаться и даже воспринимать и чувствовать.

\* \* \*

Во времена христианизации Норвегии жители Бутангена возвели из ядровой сосны изумительное творение – искусно отделанную замысловатой резьбой деревянную церковь с головами драконов и высоко вознесшимися шпилями. Еды хватало, о времени никто и не думал, так что кропотливой работе по дереву и камню посвящали месяцы и годы. Церковь была достроена в правление Магнуса V, и на лежне вырезали год: 1170. Угловые сваи и вертикальные стойки вырубали из гигантских сосен, которые росли тогда в Гудбрандсдале, и по норвежскому обычаю того времени церковь Бутангена богато украсили изображениями сцен из древних языческих сказаний. Получилось нечто вроде замаскированной под христианство обители вождя времен викингов. Резчики по дереву трудились лето за летом, украшая церковь морскими драконами и другими привычными для древней Скандинавии орнаментами. Наружная стена паперти во всю высоту была декорирована фигурами длинношеих львов, а вокруг

полотна входной двери обвился громадный резной змей. По обеим сторонам алтаря стояли деревянные колонны с изображением бородатых ликов древних богов с широко распахнутыми глазами без зрачков. Все это было призвано служить защитой от злых сил, с которыми норвежцы сражались на протяжении столетий. Столяры старались угодить всех богов сразу на тот случай, если Один и Тор все еще не утратили могущества.

В последующие столетия церковь не перестроили и не разорили. Как нрав селян избежал влияния чужеродцев, так и спрятанное в глуши средневековое строение спаслось от новомодных переделок. Красочный декор не смыли в Реформацию, лишая храмы души; и не наложил свою лапу на церковную утварь пиетизм. Восемь драконов задрали ощеренные пасти к небу, а наружная галерея и внешние стены благоухали смолой и дегтем, которыми их любовно пропитывали столетия напролет.

За пределами села история о церковных колоколах и сестрах Хекне была мало известна. Как-то в начале XIX века в село занесло художника, рисовавшего церковь, но этим он и ограничился. Зато сразу после этого другой человек, не входивший в число спутников художника, с какими-то тайными, по-видимому, намерениями расспрашивал да разузнавал про историю Сестриных колоколов, но и о нем потом больше ничего не было слышно, и вскоре народ засомневался, был ли такой человек вообще. К тому времени деньги на содержание церкви присылать давно прекратили. Приходилось довольствоваться тем, что удавалось наскрести прихожанам, так что по состоянию храмов можно было судить, хорошие ли или тяжелые стоят времена. В этот век долина Гудбрандсдал обнищала, истощенная перенаселением, наводнениями, сухой гнилью, пьянством и вымерзанием посевов. Рамы стеклянных оконцев, отбрасывавших красивый отсвет на церковные скамьи, расшатались, во время службы в них проникал северный ветер. Дранка крыши расползлась, в неразличимые глазом щелки просачивалась дождевая вода. Погода не могла совладать только с церковными колоколами. Вокруг же царил разруха. Вода находила все новые пути внутрь, в сложные конструкции каркаса, в которых мало кто разбирался; из-за трещин, возникавших от лопающегося на морозе льда, стены так разошлись, что в щели задувал снег. За несколько десятилетий порывы ветра и ливневые шквалы обломали драконам головы: одна за другой они упали на землю и бессильно раскатились между могилами. Да и сама церковь как-то осела без этих драконов, словно в мрачном ожидании беспросветного будущего.

## Серебряный звон

Начало этой истории возвестили Сестрины колокола, призывая на службу в первый день нового, 1880 года. Их звон долетел до конюшни в Хекне и вызвал перепалку между двумя из восьми отпрысков семейства.

– Освальд, – сказала Астрид, – подвез бы ты нас!

Брат отвечал, что поздновато она спохватилась.

– Что ты вредничаешь? – не отступала она. – Хватит пререкаться, запрягай сани!

Освальд протянул руку и показал порванную супонь и шлею без застёжки:

– Я б и подвез, чего там, кабы Эморт вчерась признался, что попортил сбрую.

– Чать не последняя шлея-то. Поехали!

Из конюшни слышалось фыркание Блистера, лошади долинной породы, на которой они ездили в церковь охотнее всего. Астрид отряхнула солому с нарядной юбки. Освальд пробурчал что-то себе под нос.

– Что ты там зудишь? – сказала она. – Без конца долдонись про все, чего нам не хватает, чтобы «заново встать на ноги», а сам даже сани запрячь не могёшь!

– Дак рваное все, чё я сделаю-то.

– Ну и ладно, я и пёхом дойду! – сказала Астрид, развернувшись к калитке. – И Клару с собой возьму.

Освальд бросил сбрую на пол.

– Я и пёхом дойду, – повторила Астрид. – А тебе перед отцом отвечать придется. Это ж о нем языком чесать будут, если я на службу не на лошади приеду.

Она заспешила вон. Под ногами поскрипывал снег, Астрид поплотнее обмоталась платком. Едва отворив утром дверь, она поняла, что на дворе не просто холод, а лютая стужа. Крепкие морозы – дело обычное под Новый год. Ветер бил ей в лицо наотмашь словно хворостинной, разреженный воздух больно резал легкие. На самом деле она страшилась идти в церковь: на рождественской заутрене она замерзла там так, что пальцы ног как огнем горели дня три-четыре после этого. Но идти придется из-за того, что древняя старуха Клара Миттинг, приживалка, жаждала послушать службу, но одна, без поддержки, не дошла бы по скользкой дороге.

Между рублеными домами продолжал разноситься мощный звон Сестриных колоколов. Первая серия ударов напоминала прихожанам, что от Хекне до церкви недалеко, но церковка маленькая, припозднившимся трудно будет найти свободное место. Вообще-то у Астрид как старшей дочери на большом хуторе Хекне не было необходимости тащиться по морозу, чтобы помочь такой, как Клара. Но в церковь ходят не только ради псалмов и молитв, бывают и другие причины, и тогда, может статься, лучше сидеть в первых рядах.

Быстро пройдя мимо амбара, она двинулась по расчищенной от снега узенькой тропке к скотному двору, где вместе с коровами жила Клара и кое-кто из работников. Снегу той зимой намело горы, и она услышала, как на сеновале дерутся хуторские коты. Им ведь теперь, когда их владения засыпаны снегом, только и остается пробираться у самых стен. Коты скучали и досаждали друг другу.

Колокола на время замолчали. Еще будучи маленькой, Астрид заметила, что, когда снега выпадет очень много, колокола звучат иначе. Меньше отзвуков давали сельские домишки, приглушеннее звучало эхо, отражавшееся от горных склонов и поверхности озера Лёснес; Астрид словно тянуло ближе к колоколам, прямо в трепещущую сердцевину серебряного звона. Она хорошо знала историю о риксдалерах, брошенных в плавильный чан и подтолкнувших хутор на грань разорения, из-за чего теперь ее отец и братья с досадой поглядывали на лодочные сараи по берегам Нижнего ущелья, отправляясь в долину Имсдал, где рыбачить было вольготнее, но куда путь занимал целый день, а улов никогда не бывал таким богатым, как в ущелье. Двадцать

тилетняя Астрид была одной из немногих в роду, кто гордился безумным бескорыстием своего предка, но не в ее характере было топтаться на кладбище, беседуя с мертвыми. Думами она всегда уносилась далеко, мысли будто бежали вперед, не успевала она еще их уловить. Бабушка Астрид была против того, чтобы та ходила в воскресную школу, потому что полученные там знания только разожгли бы у нее тягу к новым знаниям, а всем известно, что молодой сельской девушке такая тяга совсем ни к чему.

Никто не мог тягаться с Астрид Хекне, когда она девочкой сновала повсюду и совала нос во все дела, расспрашивала, почему что-то делается так, а не иначе. Перелезет, бывало, через ограду и несется прочь так, что только камешки летят из-под ног, – возмутительная, дурная манера, – а она бежит себе, лишь кусочки мха разлетаются в стороны; бежит туда, где заканчивается полоса возделанной земли и за оградой берег резко спускается прямо к реке. Оттуда видать уже озеро Лёснес, а сквозь расселину в скалах можно, приглядевшись, угадать очертания Фованга и Лосны.

Ей нравилось смотреть в сторону Лосны, ведь она знала, что по пути туда увидишь. В те годы оттуда нет-нет да и поднимется облачко пара и угольной пыли – результат непомерных усилий трудяг, укладывавших на участке, ведущем в недоступную даль, аршин за аршином узкие рельсы, не шире ее руки ниже локтя. Люди говаривали, что железная дорога тянется до самой Кристиании и оттуда в Швецию, а потом еще дальше на юг.

Когда Астрид была маленькой, ей казалось непостижимым, что существуют в мире тягловые животные, которым не требуется к вечеру отдохнуть. Она пыталась представить, будто едет на этом поезде, и не могла избавиться от мысли, что настоящая жизнь проходит где-то в другом месте; что каждый день, проведенный здесь, только оттягивает начало этой жизни. Но где такое место, она не знала; эти мечты были всего лишь лестницей, ведущей вверх и заканчивающейся в пустоте. Мысли день ото дня летали в разных направлениях; единственное, что она точно знала, – это что она ищет что-то, а здесь, в их селе, этого не найти. Каждый день, клонящийся к вечеру, знаменовал для нее крушение надежд, ведь ничего нового никогда не происходило. Перед сном в ее душе появлялся еще один грамм горя, и она знала, что накопившиеся за годы граммы сделают ее такой же, как и других девушек, неповоротливой и рано состарившейся.

Повзрослев, Астрид отказала двум завидным женихам, одному из Нордрума, другому из Нижнего Лёснеса. Теперь уж к ней давно никто не сватался, что люди объясняли ее непоседливостью и острым языком. Эти качества были малопривлекательными для неженатых парней с ближайших хуторов, типичных гудбрандсдальцев – высоких, выносливых трудяг, которые лучше промолчат, чем промолвят слово. Да и внешность у нее была необычной. Хотя нужно быть совсем уж уродиной, чтобы в этих местах остаться в девках, – в жены здесь предпочитали брать плотных бабенок с широким задом и сильной спиной, желательно пышногрудых. Астрид же была длинноногая и голенастая, с четко вылепленным лицом и темными курчавыми волосами; где-то еще ее называли бы хорошенькой. Глядишь, нашелся бы мужичок, что счел бы ее красивой и оценил необычный изгиб бровей, манеру вздергивать подбородок, быстро золотящуюся на солнце кожу. Но после двух отказов общее мнение о старшей девке Хекне сводилось к тому, что она непокорна и своевольна, а всем известно, что жениться надо на привычных к любой работе девушках, которые без лишних слов натачат косу, не пикнув, нарожают детишек и, не успеет после родов остыть послед, прямиком пойдут на скотный двор.

\* \* \*

Помогая Кларе выйти со скотного двора, Астрид обратила внимание на то, что старая одета лучше обычного: одолжила у кого-то башмаки и юбку. Укутанные в сермяжный полушалок и платок, они двинулись навстречу северному ветру. То и дело их обгоняли конные сани,

но Астрид смотрела прямо перед собой. Клара, казалось, не замечала холода; без устали ковыляя вперед, она поминутно дергала Астрид за рукав и спрашивала – слишком громко, – кто это промчался мимо. Астрид не успевала отвечать. Детей в семьях рожали так много, что не всем хватало места в санях, не поместившиеся семенили следом на своих двоих. Поди разгляди, кто из них кто, когда лицо замотано платком или куском ткани, а нос и брови заиндевели. До церкви еще идти и идти, а мочки ушей уже сильно покалывало, и Астрид уже страшилась того, как больно будет, когда по возвращении домой обмороженная кожа начнет отходить.

Из обрывков разговоров Астрид уловила, что температура теперь градусов сорок ниже нуля. У них дома градусника не было; старый лопнул, когда они забыли на ночь занести его в дом. И она понимала, что, значит, в ту ночь было холоднее минус тридцати девяти, поскольку ртуть замерзает при этой температуре.

От холода им было не спрятаться. Хотя издали Хекне выглядел вполне достойно, жизнь хутора определялась временем года. Амбар огромный, но редко полон запасов еды. Годный на дрова лес сильно повырублен, и зимой они могли позволить себе отапливать только один этаж. Темнело рано, и каждый вечер семья сидела, сгрудившись перед очагом, где было тепло и светло. Мужики строгаи мелкие инструменты и кухонную утварь, время от времени поднимаясь, чтобы подмести стружку и бросить ее в мгновенно вспыхивающий огонь. Малыши шумно ссорились из-за шкур, в которые они кутались, толкаясь, пихаясь, кашляя и передавая друг другу всякую летучую заразу. Астрид больше всего страдала из-за того, что деться было некуда. Ее ругали, если она порывалась уйти, прихватив с собой сальную свечу: нечего расходовать такой дорогой товар на себя одну. С приходом зимы на село опускалась крошечная тьма, в которой мерещились всяческие ужасы и привидения. Поэтому Астрид ежевечерне сидела у огня в колышущейся массе людей, в окружении тихо подпукивающих младших братишек и сестреноч, слушая бесконечно повторяющиеся рассказы стариков, тихое пение престарелой тетушки и строгие окрики матери, призывающей прекратить наконец возню.

Нет, часто думалось ей, хуже всего, что нет простора. И света нет.

Снова зазвонили колокола – напомнить людям, что пора поторопиться. Мощный звон поднимался над снежными сугробами, миновав их, разносился до самых гор, возвращаясь эхом, сплетавшимся с новыми ударами.

– Да, вот старый звонарь, тот был хороший, – пробормотала Клара, когда снова стало тихо и они могли расслышать друг друга.

– Хороший, говоришь? А чё в нем такого хорошего было?

– А он людям святой налет раздавал. Ага, правда. Испросит, бывало, у колокольного духа позволения, соскребет налету да и раздаст болезным.

Клара была родом с хутора Миттинг, еще более захудалого, чем Хекне, и ее с младшей сестрой пристроили в приживалки. Была она совсем уж лядящая, не помнила даже, в каком году родилась, но ясно, что глубокая старуха, ведь даже сестра ее дожила до шестидесяти двух. Всю свою жизнь была Клара доброй и тщедушной малоежкой, от которой в хозяйстве толку мало: ходила по воду да сидела в уголке, вязала, коли прострел не донимал. Еще страдала она малокровием, вечно с голубоватыми кругами округ глаз.

– Не пойму, о чем это ты? – спросила Астрид, поправив на ходу платок. – Как ты сказала-то?

– А вот, святой налет. Ага. Он изнутри на церковных колоколах проступал.

– Так это ж купорос. Вроде ржавчины.

– Ржавчина? Ну нет. В нем такие силы благие. Звонарь, он чашу подставит и соскребают его туда, а потом, когда в чашу на свету-то глянешь, там такое сухое крошево вроде. Добрые силы в этом крошеве, добрые. И могучие. Да уж. В старые времена люди его мешали с жиром. Раны им смазывали. А некоторые так даже и ели. Все одно польза от него была. А ты, Аст-

рид, попроси-ка у нового звонаря, а? Может, поднимется туда да принесет мне святого налету. Чтобы прострел вылечить. Попроси.

– Ну ладно, посмотрим, – сказала Астрид.

– Колокол бьет, вечность грядет, – произнесла Клара.

Астрид поежилась и прекратила расспросы. «Новый звонарь» был звонарем уж лет тридцать, не меньше. По сути, Клара исповедовала ту же самую старую веру, что и дед Астрид, но в голове у нее все смешалось, и не поймешь, то ли ей что-то сей момент втемяшилось, то ли это старинное поверье. Целыми днями она крестилась над молочными бидонами да отначивала кашу для гномов ради того, чтобы задобрить потусторонние силы. Хоть она и была не вполне в себе, обращались с ней хорошо, поскольку многие в Бутангене, и особенно дедушка Астрид, были уверены, что всем людям от рождения даровано способностей поровну, просто проявляются они по-разному и некоторые бывает непросто обнаружить и понять. Дети, которым плохо давалась речь, могли стать непревзойденными музыкантами или резчиками по дереву, слепые умели заговаривать лошадей, а чудачки вроде Клары общались с высшими силами, сердить которые не стоило.

Клара унялась наконец, и они подошли к церкви с ее таким узнаваемым красным шпилем. Стены, обращенные на запад, почернели от смолы, зато стенам, на которые попадало солнце, летний зной придал золотистое сияние. Сверху на эту цветовую гамму лег слой белой изморози, а из отводных труб, выступавших из стен, струился дымок.

«В церкви ли он уже? – спросила себя Астрид. – Так же ли ему холодно, как ей?»

Церковь она изучила хорошо, и того лучше пасторскую усадьбу. Два года она отбыла там служанкой. Один из немногих постов, подобающих старшей дочери со знатного хутора Хекне, хутора, на котором в лучшие времена нашли бы возможность позволить старшей дочери жить в праздности. Два года шитья, мытья и ухода за мебелью. А с прошлой весны все сильнее стало биться сердце за шитьем, мытьем и уходом за мебелью. Пока поздней осенью с ней спешно не рассчитались и не пришлось ей вернуться на хутор Хекне, к сельским трудам.

Теперь же Астрид с Кларой потопали ногами, отряхивая снег, и зашли на паперть, но, когда переступали порог, Клара низко присела и пробормотала что-то о Вратном змее. Астрид, поддерживавшей Клару под локоток, показалось сначала, что та падает, и Астрид пыталась удержать ее.

– А чё ж, ты рази не поклонись Мидтстрандской невесте? – спросила Клара, ковыляя внутрь со странно подогнутыми коленями.

Оглядев собравшихся, Астрид никого с хутора Мидтстранд не увидела.

– Поднимайся, – прошипела Астрид. – Люди же смотрят!

– К ней с уважением надобно, к Мидтстрандской невесте, – сказала Клара. – Непременно ее привечать. А то осердится на тебя, знаешь.

– Тсс!

– Вратного змея нету, а все едино он тут, – пробормотала Клара.

Астрид тянула Клару за собой. Ей непонятно было, Мидтстрандская невеста и Вратный змей – это одно существо или нет, но спрашивать не хотелось. Клара любила присочинить что-нибудь на ходу, стыдно будет, если она не прекратит бубнить.

Оказалось, что церковь полна.

Постоянного места у хуторян из Хекне больше не было. Пришлось им отказаться от своей скамьи в тот год, когда они затащили с уплатой обувного сбора. Табличку с названием их хутора, прикрепленную к дверце скамьи, закрасили, рядом прикрутили другую. Справа, в мужских рядах, были свободные места, но женщинам следовало садиться слева, а там место оставалось только у самой стены, где всего холоднее. Астрид с извинениями пробиралась туда, волоча за собой Клару; глядя в потолок, люди подбирали ноги под себя.

– Ну ты чё, неужто мне тут сидеть?

– Клара! Давай садись, – тихонько шепнула Астрид, почти не разжимая губ, – ты ж видишь, других свободных мест нет!

– Ну как, а вона впереди-то? – громко сказала Клара, показывая на более удобное место, которое они прозевали; теперь там усаживались две девушки с хутора Ближний Румсос.

Астрид протолкнула Клару к холодной стене, собиралась поменяться с ней местами, но старушка уже устроилась там, бормоча что-то и кивая своим словам.

Заглушая бормотание Клары, зазвонили колокола, и тут ввалилось припозднившееся семейство в восемь душ; в проходе они разделились, и две девчонки нагло уселись с краю, потеснив весь ряд, так что Астрид с Кларой прижались к стенке вплотную. Астрид даже через одежду почувствовала, насколько Клара исхудала, как выпирают кости бедра и плеча.

Люди тряслись от холода, изо рта валил белый пар. Центральный проход едва освещался мерцающими сальными свечами, слышно было только, как тихонько переговаривались прихожане да шуршала сермяга. Только зажиточные сидели более или менее спокойно, завернувшись в меховые полости.

Астрид нравилось в деревянной церкви, но только в теплое время года. Само по себе христианство ее не увлекало, но, когда ей было тепло, она представляла себе, что могли видеть эти стены, отыскивала взглядом не замеченные раньше узоры в резных украшениях и красочном декоре, любовалась всей этой красотой, от которой в общем-то пользы никакой не было; и ей нравилось разбирать написанные замысловатыми закорючками эпитафии.

Дверь на паперть затворили. Церковный служка явно старался раскочегарить высокие чугунные печки-этажерки еще с пяти утра, но стены не держали тепла.

Ну что ж, придется терпеть холод. И холод, и напоминание о несбывшейся мечте, которое вот-вот предстанет перед глазами. Придется терпеть это так же, как придется терпеть остаток жизни. Такая уж ей выпала судьба, что толку жаловаться. По-другому не вышло. Вот и сидит она в этот самый холодный день года в доме, который, должно быть, самый холодный у Бога. Ей бы хотелось надеть что-то потеплее, но такой теплой одежды у нее не было; ей бы хотелось любимого, но она сомневалась, что он ей достанется. И еще ей хотелось лета. Лета в конце концов дождешься, в отличие от любимых и одежды. Вообще-то лето вполне заменит и то, и другое. Жаркое солнце, шелест осинового листы; намыться до блеска, вольно бродить босиком где захочется.

Послышались раскаты звона к молебну. Трижды по три удара перед началом богослужения. Старый пастор был датчанин, поэтому звонарь следовал датскому обычаю перед началом службы бить в колокол девять раз. После этого до появления пастора воцарялась тишина.

Но Астрид предчувствовала, что в этой тишине к ней посватается старый знакомый. Прижмется к ней и проберется под одежду.

Мороз.

Ага, вот он, невидимый, жестокосердный, как стальное лезвие. Она пробовала съежиться, чтобы кожа не касалась одежды, но из щелей в полу тянуло холодом, пробиравшим до колен, до коченеющих пальцев рук и ног.

Астрид знала, что ее ожидает. Холодина, проникающий сквозь кожу и мышцы, до самого мозга костей. Да что там, промерзает и сам этот мозг, похожий на тот, что они высасывали из вареных овечьих костей после забоя. И стоит холоду там обосноваться, так и засядет во всех косточках; они одереveneют намертво, потом несколько дней будет не разогнуться.

Вот и он идет наконец. Не идет, а является из потайной каморки и ступает мимо алтаря. Выжидающе. Словно с самого рассвета был в церкви. Облачение, Библия и внимательный взгляд.

Кай Швейгорд.

\* \* \*

Он откашлялся и начал богослужение. Астрид почти сразу заметила, что сегодня у него на сердце особенно беспокойно. Вообще же единственным недостатком, который можно вменить новому пастору, как его наверняка будут называть еще долгие годы, были нескончаемые обеды. Говорил Швейгорд четко и ясно, употребляя высокопарные обороты. При нем службы пошли совсем иначе, чем при прежнем пасторе, чьи проповеди нагоняли сон. Тот старозаветный сухарь, так и не отделавшийся от неразборчивого датского выговора, в проповедях талдычил исключительно о долге христианина и карах, что ожидают верующих недостаточно истово.

Нет, Каю Швейгорду задора было не занимать, задор бил ключом, как рождественское пиво из бутылки. На солнце его лицо быстро загорало, а он любил и рукава рубашки закатать, так что руки тоже легонько бронзовели; он ежедневно брился опасной бритвой, двигался легко и стремительно, мысли выражал понятно и четко, а когда приходилось крестить беспокойных детишек, не боялся, что его забрызжет вода из купели. Он держался иначе, чем другие священники, но не возникало никакого сомнения в том, что он пастор. В соответствии с саном он возглавлял комитет вспомоществования бедным и не гнушался навещать самых неимущих сельчан, а такие, бывало, вдесятером теснились в одной комнате.

Такая о нем шла молва.

Астрид повернула голову, чтобы видеть его лучше. В селе он появился в мае; слуги рядом выстроились перед пасторским домом, встречая его, и она в своем переднике тоже там стояла. Они знали, что он не стар, но и не слишком молод, и ожидали, что он привезет с собой огромный воз вещей, расфуфыренную супругу и выводок детишек, но из повозки легко выскочил веселый мужчина в черном с двумя чемоданами в руках, а больше он с собой почти ничего не привез.

Маргит Брессум тут же рассудила, что это ее великий шанс. Это была голосистая самоуверенная вдова с обвислыми грудями, игравшая совершенно незначительную роль в хозяйстве. Старый пастор лучших слуг забрал с собой, и по прибытии Швейгорда Брессум встала так, чтобы поздороваться с ним первой, прикинулась очень занятой и знающей и назвалась старшей горничной Брессум.

Так на Пасторке, как пасторскую усадьбу окрестили местные, было положено начало новой эпохе. Брессум с важным видом сообщила, что присмотрела для жилой комнаты новые занавески, спросила нового пастора, желает ли он печенку с кровяной колбасой на ужин, да и вообще, какие у него будут для них пожелания. В семье прежнего пастора было шесть человек, и несколько дней ушло у Швейгорда на то, чтобы убедить старшую горничную Брессум не заводить ради него одного канитель с рождественским поросенком и марципанами. Новоявленный духовный пастырь поведал, что не женат, посмотрел на собравшуюся супругу предшественника и, слегка помедлив, добавил:

– Пока.

Потом оказалось, что такие мелкие обмолвки у него частенько проскакивают. Он мог сказать что-нибудь вовсе безобидное, но, поскольку при разговоре постоянно окидывал взглядом окружающих, да и во время проповедей тоже, его словам нередко приписывали вредоносную подоплеку. Как бы то ни было, светскую жизнь он вести не собирался, предпочитая «бережливое хозяйствование по средствам». Единственное, чего он пожелал для себя, – это чтобы ему по новомодному обычаю подавали на завтрак куриное яйцо. На скотном дворе отвели угол для птицы, в остальном все шло своим чередом. Надежды Маргит Брессум на то, что ей доведется третировать целую ораву служанок, постепенно угасли, а бурная деятельность свелась к обеспечению пастора тремя ежедневными трапезами. Как она ни раздувала

важность этой миссии, продолжая величать себя старшей горничной, руководить ей парой-тройкой девушек, не больше.

Астрид продолжала делать то же, что и всегда: шила, мыла и следила за мебелью в парадных покоях, сажала и пропалывала цветы на клумбах в саду – расторопно и не церемонясь. Иной раз взглянет издали на нового пастора исподтишка, а тот лишь слегка кивнет – и с глаз долой, только фалды развеваются. Так продолжалось до того дня, когда она на отполированном до блеска комод в прихожей не увидела номер «Моргенбладет». Раз в неделю Швейгорду привозили плотный сверток газет. Он прочитывал их по одной в день, как бы ни хотелось ему узнать, что происходит в мире, и на сколько бы дней ни припозднилась почта.

Итак, на комод лежала газета. Сложенная вчетверо, полная буковок, сбегавших вниз пятью узкими колонками; Астрид подошла поближе и принялась. Типографская краска еще не просохла, и бумага распространяла легкий аромат, напоминавший запах свежих грибов. Астрид торопливо огляделась и развернула газету. «Моргенбладет» состояла из двух больших листов. Первая страница была плотно заполнена тем же готическим шрифтом, что и книга для чтения в летней школе. На другой странице Астрид увидела прямоугольнички, внутри которых текст был набран на языке, который она сначала приняла за иностранный, но быстро сообразила, что это новые буквы – учитель называл их латинскими и характеризовал как «простецкие и кричащие».

Астрид они не показались ни «простецкими», ни «кричащими». Вовсе нет. Прямоугольнички, заполнявшие всю газетную страницу, были, должно быть, объявлениями. Большой газетный лист напоминал здание со множеством распахнутых оконцев, из которых долетал то свежий воздух, то загадочные звуки. В Кристиании проводили розыгрыши произведений живописи, устраивали балы и концерты, торговали апельсинами из Валенсии и можно было даже купить яйца английских уток для выведения утят. Продавали скрипичные струны из свежих порослячьих кишок, декоративные растения в горшках, не садящееся при стирке нижнее белье и еще новые французские корсеты: о значении этого слова Астрид только догадывалась.

Она прочитала, что в семь часов можно послушать лекцию об экспедициях к Северному полюсу, и в этот момент напольные часы пробили семь. На лестнице послышались шаги; Астрид сложила газету и вернула ее на комод, но, выходя, столкнулась в дверях с новым пастором; дуновение воздуха из открывшейся двери всколыхнуло уголок тонкой газетной бумаги, и их взгляды встретились.

До этого момента они приветствовали друг друга лишь кивками, теперь же Швейгорд стал без лишних слов и не чинясь отдавать прочитанные газеты Астрид. Заодно он расспрашивая ее о жизни села. О названиях хуторов, об их хозяевах, интересовался, много ли у них детей; задавал вопросы об отношениях между людьми, поскольку он, по всей видимости, никак не мог в них разобраться. Станный у них получался обмен: он хотел получить представление о мелких хитросплетениях местной жизни, а за это дарил Астрид знания о большом мире. Об этом мире она читала с упоением, тянулась к нему обеими руками, а когда газета бывала прочитана и следовало вновь браться за иглу, она все сильнее ощущала себя чужой в этом месте и в этом веке, а позже и в своей одинокой постели.

По воскресеньям она не сводила со Швейгорда глаз. В конце службы он всегда оставлял время для того, чтобы немного поведать о большом мире, коротко пересказывая заметки о событиях в Кристиании и за границей. Но поскольку Астрид прочитывала газеты, она знала, о чем он будет рассказывать, и всю неделю предвкушала эти минуты, словно у них с пастором была общая тайна.

Маргит Брессум сообразила, видимо, что общие интересы могут повлечь за собой нечто более серьезное. Хотя ничего еще не произошло, никто не пытался ничего изменить, ничего лишнего не было сказано.

А все же вряд ли много времени прошло бы, пока что-нибудь не было бы сказано или изменено. Маргит Брессум заявила Астрид, что «больше работы для нее нет», поскольку пастор живет один и запросы у него скромные.

– Вот супруга евовная приедет, тогда посмотрим, – сказала она.

У Астрид дернулись губы, и старшая горничная повернула нож в ране:

– Он, вишь, помолвлен.

Вот тогда-то Астрид и смекнула, что если где-то есть тупик, то должен быть и выход из тупика.

\* \* \*

Наконец подошло время торжественного псалма. Астрид подпихнула Клару, и та с трудом поднялась на ноги. Пришлось помочь ей найти нужную страницу в Псалтыри. Ошибаются те, кто обычай вставать в храме связывает с желанием прославить Господа, подумала Астрид. Встают, промерзнув до костей, чтобы размять ноги и хоть чуточку разогнать кровь.

Клара дышала носом, и от выдыхаемого пара волоски у нее в носу покрылись белым инеем. Хотя она и не умела читать, ей нравилось держать в руках Псалтырь. Служба шла своим чередом, и к следующему псалму зубы у всех стучали так, что слов не разобрать. Пол промерз настолько, что Астрид казалось, будто она босая. А когда она попробовала пошевелить пальцами ног, то вообще ничего не почувствовала.

Началось крещение детей. Крестить под Новый год считалось благом, и своей очереди ожидало девять младенцев. В начале богослужения детишки орали и вопили, но от холода примолкли. Поднесли первого малыша, но церемония все не начиналась.

От купели донеслись приглушенные голоса.

Астрид вытянула шею и увидела, что Швейгорд переложил малыша в другую руку. Костяшками пальцев он разбил лед, образовавшийся на поверхности воды в купели; все услышали, как разнесся хруст ледышек. Потом пастор окрестил мальчика и сказал, что отныне тот воспринят в ряды рабов Господних. Поднесли следующего ребенка; дрожа от холода, произнесли неверными голосами его имени. Церемония не затягивалась, и некоторые, похоже, называли даже не все имена, которые собирались дать ребенку. Последнюю малышку привезли из Трумснеса, и Астрид знала, что ее собирались наречь Юханной в честь бабушки, но отец девочки так озяб, что первый слог не сумел выговорить, и Швейгорд окрестил ее Анной Трумснес.

\* \* \*

Церковь накрыл холодный шквал, и прихожане совсем заоченели. Печи уже выгорели, а церковный служитель не смел возиться с дровами, боясь помешать службе. От сильного порыва ветра закрипели стены, ледяной воздух ворвался внутрь помещения и едва не загасил свечи на алтаре.

Швейгорда это не остановило. Казалось, он не замечал холода. Наоборот, холод будто придал ему новых сил. Астрид вспомнилось, как они вместе складывали длинную парадную скатерть и его лицо постепенно приближалось, с каждой следующей складкой в нем оставалось все меньше пасторского и появлялось все больше мужского; под их трепещущими пальцами плотно вздымалось и опадало, выставляя напоказ их возбуждение: так с плеском встречаются волна с волной.

Астрид огляделась. Селяне изо всех сил старались не ерзать на скамьях. Они привыкли терпеть. Жизненные невзгоды поджидали их всюду: приходилось переносить и зубную боль, и прострел, и костоед в коленях. Так что они сидели на своих скамьях и терпели. Терпели, хотя

щеки сначала побелели, а потом посинели. Ребятишки отсутствующим взором смотрели прямо перед собой, постепенно теряя власть над телом и начиная непроизвольно раскачиваться из стороны в сторону, словно на корабле, подбрасываемом волнами. Когда пришло время петь «Скрылся Старый год в волнах» – один из новых псалмов, слова которого никто еще не выучил наизусть, пальцы у органиста заоченели так, что выводимую им на фисгармонии мелодию многие не узнали и вместо этого псалма пели следующий номер из указанных на табличке.

Один только охотник-медвежатник Халлстейн Хюсе не дрожал от холода: он закутался в шубу, а четверых сыновей накрыл огромной полостью. Клара Миттинг не сумела подняться для пения, и Астрид в полутьме не стала ее тормошить.

С воем налетел новый порыв ветра, сильнее прежнего.

– Скреженошь, – шепнула Клара. – Скоро ужо.

Астрид только кивнула. Старуха съежилась, прислонила голову к стене.

И тут в церковь начал заметать снег. Кристально-белые зернышки оседали на головы собравшихся, на распятие и запрестольный образ, на Библию в руках Швейгорда, и в кои-то веки он прервал чтение.

Люди подняли головы к сводам церкви, откуда опускался снег, и быстро смекнули, что это не снег, а иней. Должно быть, шквал так потряхнул церковный чердак, что изморозь смело и осыпало вниз рыхлой массой.

На пол планировали последние снежинки, некоторые опускались на сальные свечи. Они начинали угасать, шипя и брызгаясь, но вспыхивали вновь.

Кай Швейгорд окинул собравшихся взглядом. Развел руками и громко произнес:

– Воздадим хвалу испытанию, которое нам ниспослано, и выстоим вместе! Это знамение от Господа Бога; примем его, как принимал Божьи знамения Моисей, а я обещаю: к следующей зиме мы будем собираться в лучших условиях. Уже этой весной ожидаются события, которые избавят нас от нищеты.

Потом он неровным голосом продолжил чтение. Астрид пыталась угадать, что он имел в виду. Пару раз она уже видела его таким воодушевленным и разгоряченным, когда он ожидал с визитом главу местной управы или других мужчин в дорогих костюмах.

Она осмотрела продрогших от холода прихожан. Их волосы и плечи покрылись инеем. У многих уже не было сил слушать, а те, что слушали, наверное, сразу же забывали сказанное пастором.

Швейгорд замешкался на кафедре. Они исполнили едва ли половину из объявленных на табличке номеров, но снова налетел ветер, пастору пришлось опять сдуть с Библии снег, и он начал понемногу сворачивать службу, сбив с толку органиста; пришлось сказать ему открытым текстом, что четыре псалма они пропустят.

Последняя четверть часа превратилась в демонстрацию способности Кая Швейгорда черпать новые силы из преодоления трудностей. Слово Господне звонко разносилось между колоннами, явив союз воли и веры. Под конец он под мерцание восковых свечек запел в одиночку.

Когда наконец зазвонили Сестрины колокола, народ повалил вон, стараясь двигаться быстрее, если позволяли заоченевшие колени. То же сделала и Астрид, подталкивая людей вперед и крутя туда-сюда ногами и бедрами, чтобы разошлись, разогрелись мышцы. Ощущение было, будто сама церковная скамья примерзла к попе, а годовые кольца деревянного сиденья впечатались в кожу. Добравшись до прохода, Астрид обнаружила, что Клара за ней не идет. Астрид заторопилась назад и потянула старую за рукав.

В это мгновение жизнь Астрид перевернулась, ибо тот грамм, что еженощно утяжелял ее дух, окрасился с этой секунды в голубоватый оттенок уныния. Одновременно в ее памяти навеки запечатлелась отчетливая картина того, что произошло, когда она сильнее потянула Клару за руку. Тело старушки завалилось вперед и зависло на щеке, примерзшей к церковной

стене. Должно быть, в последние мгновения жизни ее дыхание попадало прямо на доски. Тело повисело так немножко, а потом голова с хрустом отделилась от стены и ударилась о скамью впереди.

Услышав вопль Астрид, к ней подбежал церковный служитель, а следом за ним и Кай Швейгорд. Звонарь ничего не заметил и продолжал бить в Сестрины колокола. За всем этим звоном Астрид расслышала лишь обрывки того, что говорил пастор.

– Когда наступит весна, – сказал Кай Швейгорд, приобняв ее за плечо, – и ты, Астрид, и все мы будем освобождены, избавлены от таких страданий.

## Утлая лодчонка в бурном море

Церковный служка и третьего, и четвертого января силился подготовить могилу для Клары Миттинг, но земля промерзла так глубоко, что не помогли даже костры, горевшие двое суток подряд. На голову и плечи служки, стоявшего в облаке пара над дымившимися головешками и мерно долбившего киркой землю, падал снег. Зрелище было ужасное – казалось, прямо под церковью разверзся ад. Увидев это, Кай Швейгорд отправил служку прочь, дабы не превращать подготовку к похоронам в потеху для народа.

– Придется повременить с ее похоронами до весны, – сказал Швейгорд.

В очередной раз он столкнулся с дилеммой, которую находил самой мучительной для священнослужителя: когда духовное вынуждено было отступить перед материальным, перед действительностью. В своем служении он ежедневно сталкивался и с тем и с другим, и если одно с другим было не совместить, верх неизменно одерживали силы природы: исполняя победную пляску на крышке гроба, они отбрасывали длинные колеблющиеся тени. Ему хотелось, чтобы было иначе, чтобы смерть была более красивой, более смиренной. Чтобы душа сохранялась в чистоте, чтобы мертвая оболочка не марала ее.

– Как пастор пожелают, – кивнул церковный служка, опершись на кирку. – Но как-то сумнительно, что люди будут столько времени ждать, чтобы умереть.

– Над смертью и холодом ни ты, ни я не властны, – сказал Швейгорд. – Нам как служителям Господа придется все похороны отложить до весны.

Подобное решение далось ему тяжело. Это, пожалуй, было его первой крупной неудачей в Бутангене. Но он чурался выражений вроде «тогда поступим как прежде» или «придется, наверное, вернуться к старому обычаю». Кай Швейгорд ни за что не сказал бы такого. Он был посвящен в сан годом раньше, одним из ста сорока восьми молодых людей.

Сами они не могли выбирать место служения, так что нерадивых и отстающих отправляли в убогие захолустные приходы, в которых огонек веры едва теплился: там они либо должны были стать на путь истинный и направить тем же путем прихожан, либо могли пасть жертвой пьянства и одиночества. Умников и романтиков, слишком добрых или слишком неуступчивых, назначали на посты, где они пообтесались бы под непомерным грузом работы. Кое-кому из выпуска – так называемым поэтам, умильным неженкам или обладателям красивого певческого голоса, эдаким свечочкам благочестия, – выпадало поступить под начало городского пастора. Середнячки становились капелланами, некоторые вырастали до высоких чинов, остальные перебивались как могли, не оставляя по себе памяти.

И были немногие избранные. Заметные, усердные, но непредсказуемые. Такие часто казались зрелыми не по летам, что-то в них постоянно скрыто бурлило, и пусть даже правописание хромало, но такие были рождены каждый со своим особым дарованием, с разнообразными талантами. Эти не оставались незамеченными и непризнанными, и легкий кивок показывал, что они выделены из общей массы. Такие отчеканены из твердешего вещества, а края у них острые, и если они за что берутся, то всерьез, – это настоящий сгусток силы воли. Если у таких и находился какой-то изъян, то с возрастом он только помогал формированию неповторимой личности. Этих особенных сразу же ставили приходскими священниками в не слишком большие селения, где процветало пьянство и косность, где царил нужда, а часто и суеверие. Именно туда направляли епископы свои самые отточенные и всепроникающие орудия; таким орудием был и Кай Швейгорд.

В Бутанген его послал хамарский епископ Фолкестад, и они оба понимали почему.

Если он справится со своим служением здесь, то его ждет скорое продвижение по службе. Ибо кто-то из подобных молодых людей – хотя сразу по окончании обучения трудно было предсказать, кто именно, – обязательно дослужится до епископа.

При старом пасторе, да, очевидно, и при всех его предшественниках, середь зимы никого в Бутангене не хоронили. Но Швейгорд ошарашил всех в ноябре, в первую же зиму своего служения здесь, требованием использовать церковные запасы просушенного швырка на оттаивание кладбищенской земли. Местные тут же поведали ему, что в незапамятные времена на хуторах всю зиму хранили своих окоченелых покойников дома, в гробах; даже малые дети и мертворожденные младенцы лежали так месяцами, а рядом шла своим чередом жизнь. К тому же старого пастора похороны, похоже, вообще мало интересовали. Как большинство пасторов своего поколения, на ночное бдение он ездил только к зажиточным крестьянам. Поминальную речь произносил исключительно за плату, а заупокойная служба в церкви стояла и того дороже. Люди старались сделать все своими силами. Сами сбивали гроб, сами дома читали ночами молитвы, сами отпевали покойного, сами провожали его в последний путь на кладбище и сами копали могилу – на свободном, надеялись они, месте. Старый пастор только иногда сонно выглядывал из-за занавески и довольствовался тем, что при следующей воскресной службе символически бросал на могилу пригоршню земли. Гроб к тому времени уже покоился глубоко в земле; пастор, бывало, и имена путал, а поправить его то ли не решались, то ли считали, что теперь уж все равно.

Последствия такого отношения Швейгорд ощутил уже в первую неделю своего пасторского служения, когда ему то и дело приходилось срываться с места на похороны, о которых его никто не известил, и люди уже вовсю орудовали лопатой и киркой. Земля на кладбище была неровная и корявая, будто на недавней лесной вырубке, а поскольку мало у кого были средства на памятник солиднее, чем простой крест или деревянная доска, то немногие помнили, кто и где похоронен. Швейгорд тотчас же строго наказал извещать его об умерших и велел церковному служителю позаботиться о том, чтобы могилы рыли заранее. Как только гроб опускали в могилу, Швейгорд являлся на кладбище и сам бросал горсть земли на крышку гроба, пока он еще не был засыпан. Швейгорд почувствовал, что сельчанам изменения в заведенном порядке не по нраву, а еще больше им не нравится появление незваного представителя власти. Но с приближением зимы выразительное молчание и мрачные взгляды стали менее ощутимы. Люди согласно кивали, когда он говорил, и видно было, что родные покойного ценят его слова утешения и рукопожатие.

Но вот выпал снег, и хотя Швейгорд убеждал себя, что следует соблюдать закон, согласно которому умершие должны быть преданы земле не позже девятого дня, расход дров возрос колоссально, а церковному служке приходилось работать гораздо больше обычного. И вот теперь, оказавшись с телом Клары Миттинг на руках, они вынуждены были признать, что святочные морозы одержали верх над благими намерениями.

Служка ногами раскидал дрова по зашипевшему снегу, собрал обугленные поленья в дерюжный мешок и, пробубнив «ну-ну», принялся счищать сажу с лопаты и кирки.

– Копать зимой больше не будем, – сказал Швейгорд, – но нужно бы построить в селе покойницкую. – Уперев руки в боки, он огляделся будто в поисках подходящего участка. – Сколько же можно мучиться.

Церковный служка как-то сник и постарался поскорее распрощаться.

Швейгорд остался в одиночестве перед зияющей раной в снегу, осыпанной пеплом и торфом. Из нее тоненьким ручейком сочилась талая вода и тут же застывала. К счастью, снова посыпал снежок и накрыл изувеченную землю белой пеленой.

Зима, подумал пастор. Лихая зима. И смерть.

Новогоднее богослужение мало того что не удалось во всех отношениях, так еще и завершилось смертью прихожанки прямо в храме. Ближайшие месяцы тоже дадутся людям тяжело. Нескончаемая череда темных дней, когда не случается ничего хорошего и человека, найдя его слабое место, терзает холод. Горечь утраты, голод, лютая стужа.

Да, сказал себе пастор. Нужна покойницкая. Эту проблему нужно решить, и решается она просто. Покойники не должны оставаться в жилье. Но прежде всего необходимо заняться этой внушающей ужас церковью. Перед вступлением в должность у него был долгий разговор с епископом Фолкестадом, и пастор был готов к тому, что церковь ветхая – это не страшно, но он не ожидал, что она стоит, как стояла во времена Средневековья. В первый же день его ужаснули чудовищные резные украшения, отражавшие дикие религиозные представления древних скандинавов, и фисгармония, мехи которой постоянно рвались, из-за чего хоралы порой замирали на заданной ноте. Эта церковь ни на что не годилась; осуществлению его планов она не могла поспособствовать. Страну ожидали беспокойные времена и серьезные перемены. Газеты наперебой сообщали о новых изобретениях, о смене политического курса; сам дух времени радикально менялся на глазах. Новые времена требовали четкого руководства, твердости и душевного здоровья. А эта странная церковь походила на утлую лодчонку, которую треплет волнами в бурном море.

Пастор взглянул на церковь и почувствовал, что весь дрожит. Вчера он отпер дверь и зашел в темную мерзлую пустоту, сел на скамью, где умерла Клара Миттинг, и долго молился за приход и за себя самого. Теперь его снова тянуло туда, на ту же скамью, – читать другую молитву, молить, чтобы Господь придал ему сил.

– Нет, Кай Швейгорд, – негромко произнес он и выпрямился. – Разнюнился, как баба, а время идет. Оружие Господне следует оттачивать ежевечерне, надо дело делать. Найти новое задание для служки. Не опускать рук, осуществляя свой план.

## План

Пастор чуть не проболтался о нем, когда во время новогодней службы на Библию посыпался иней, но вовремя спохватился. Так вышло потому, что он готовился произнести эти слова в будущем, и ничего странного в этом не было, поскольку он предвкушал, и очень радостно, как оповестит прихожан о том, что их ожидает. Но время для этого еще не настало: не доставало подписи важного лица, оставалась пара спорных моментов, но это мелочи, и он надеялся, что все разрешится в ожидаемом им ответном письме из Дрездена.

К счастью, пастор был не одинок. Он не раз съездил в Волебрюа побеседовать с главой управы, а управляющий торгово-сберегательного товарищества полностью поддерживал его в том, что действовать необходимо. Но денег в приходе не водилось.

Тогда-то у него и созрел этот план.

Швейгорд поежился и двинулся к усадьбе. Он тщательно взвесил, что в ней оставить как было, а что нет. Жилой дом слишком велик, стар, из подпола дует; ему же, собственно говоря, требуется только кабинет, спальня да библиотека. Он уже дал старшей горничной поручение избавиться от части служанок и работников, однако опешил, когда первой отослали домой лучшую и самую толковую – Астрид Хекне.

Арендатору приусадебного хозяйства он предоставил вести дела как раньше. У того в семье было шестеро человек, да еще несколько батраков. Все они ухаживали за посевами и животными, ходили в горы, а иногда промышляли рыбалкой. Им Кай Швейгорд поручил только обеспечивать ему, когда потребуется, лошадей и возницу да поставку продуктов к столу.

Какая бессмыслица, думал он. Двадцать душ, чтобы обеспечивать жизнедеятельность одного пастора! Все пустующие спальни второго этажа служили постоянным напоминанием, что от него ждут: следовало обзавестись супругой и детьми. Но он не имеет возможности заключить брак; нет, не сейчас, не здесь! Конечно, его помолвка с Идой Калмейер сохраняла силу, но ей приехать, оторвавшись от своих вышивок и язвительных приятельниц, сюда, в глушь? Да она здесь истаёт и погибнет.

Кай Швейгорд продолжал путь, раздраженный тем, что приходится отказаться от другого хорошего плана. Он никому не говорил об этом, но похороны бедной Клары Миттинг явились бы лучшим поводом перейти к отвечающему современным требованиям обряду погребения, перед которым все были бы равны. Хорошо бы Астрид Хекне оказалась рядом, чтобы расспросить ее о том, как люди могут отнестись к этому. С ней единственной он действительно мог разговаривать, она очень помогала ему разобраться в том, как устроена бутангенская жизнь. Другие служанки разлетались легкими перышками, стоило ему войти в комнату. А старшая горничная, сонная и грузная, гоняла их всюю своим рявканьем, тяжело топая по всему дому.

С Астрид Хекне все иначе.

Она была не из тех, что смотрят в пол, когда сидят, или не поднимают взгляда от земли, когда стоят; нет, от ее взора ничто не скроется. За собой он скоро заметил, что приходит в отличное расположение духа, доставив ей даже малейшую радость. Одолжи ей почитать старую газетенку – она воссияет как солнышко. Сначала он считал, что занимается просвещением девушки из народа, поставляя пищу скудному уму. Но вскоре обнаружил, что этот ум вовсе не скуден. Совсем наоборот. Она была любознательна, схватывала все на лету и бесстрашно стояла за справедливость. Ему все сильнее хотелось продлить их короткие встречи. Ее улыбка никогда не бывала подобострастной, а казалась чуть недоверчивой, и ему подумалось, что, наверное, не только он учит ее любить ближнего; похоже, ему самому было чему поучиться у нее.

Да, теперь он смотрел на нее другими глазами, и не только как пастор.

Поначалу их разговоры касались только обыденных дел, потом, стараясь понять, что движет местными жителями, он начал расспрашивать ее о жителях Бутангена, об их семейных отношениях. Ей, наверное, стало ясно, что пасторское служение в Бутангене едва ли считается завидным постом. Ему особенно запомнился их разговор после проповеди, в которой он резко обличал людей, в воскресенье работающих на земле. Она без обиняков возразила, что так бывает только в разгар страды или если речь идет о сохранении урожая, чтобы не голодать зимой.

– Чаще всего работать приходится бедным арендаторам, – сказала она. – Особенно если у них нет собственной лошади. Всю неделю они работают на хозяйских землях, а может, только в воскресенье будет вёдро, чтобы можно было поработать на своем участке.

– Что за вёдро? – спросил он.

– Ну, такая погода, когда можно трудиться на воздухе.

Кай Швейгорд возразил, что работа в воскресенье предосудительна и возмутительна, и тогда она заявила:

– Да ну, надо просто перестать возмущаться, и у господина пастора будет одной заботой меньше!

Он опешил. Почесал в затылке. Она так это произнесла, что было вовсе не обидно. Показала, что власть в его руках и он единственный, кто может этой властью распорядиться. Но дала понять, что и она тоже личность и имеет право высказать свое мнение.

– Вообще-то теперь, когда мы исповедуем протестантизм, – ответил он, – церковных праздников не так уж и много. А знаешь ли ты, почему норвежцы когда-то противились христианству?

– Так, наверное, было до того, как приехали вы, – сказала она.

Он не понял, что она имела в виду.

– Я говорю о времени Олафа Святого. Когда вводили христианство. Ведь крестьяне сопротивлялись не только потому, что не хотели отказаться от Одина. Видишь ли, в то время христианская вера была католической. Духовенство намеревалось ввести тридцать семь обязательных церковных праздников.

– Окромья воскресеньев? – спросила Астрид.

– Ну конечно. Тридцать семь в дополнение к ним!

– Так много? Это ж чуть не девяносто дней выходит.

– Вот именно! Четвертую часть года люди не имели права работать! Возможно, в теплых странах, где вести хозяйство не так тяжело, этот запрет приняли как должное. Но у нас на севере такое не годилось.

Она кивнула, со звяканьем убирая на серебряный поднос обеденную тарелку и приборы пастора.

Ох уж это звяканье.

У него возникла мысль, что Астрид собирала бы приборы так же, сиди он у нее за столом. Она вроде бы выросла на довольно известном хуторе, где издавна поддерживали тесные отношения с церковью, дарили колокола и другие ценные вещи, но теперь – по словам старшей горничной Брессум – «дела там идут неважнецки».

– Вера верой, – сказала Астрид, выходя из комнаты. – Но голод и смекалка все одно сильнее.

Видно было, что она считает это само собой разумеющимся; он же крепко задумался.

С тех пор он сквозь пальцы смотрел на воскресные работы во время страды; да и само это слово он узнал от нее. Может, тому способствовало одиночество пастора, но благодаря Астрид он заглянул внутрь себя и за серой краской, в которую для него было окрашено лютеранское мировоззрение, нашел уголок, где билось сердце, уголок, который ему хотелось бы заполнить любовью к живой женщине из плоти и крови.

Уголок, который Ида Калмейер согреть не умела.

Уголок, который он покинул, шатаясь, когда ему однажды довелось побывать там. У портовой девки в Кристиании, старше его лет на десять, шепнувшей ему: «Ты ж еще не настоящий пастор». Он долго пытался вычеркнуть случившееся из памяти. Забыть, как единожды он и его соученики, раздухарившись и глупо кривляясь, вывалились со съемной квартирки одного из них, обкуренные опиумом, и кто-то потехи ради предложил заглянуть в бордель на улице Фьердингсгате. Как он на нетвердых ногах, с кружащейся головой и дурацкой ухмылкой на лице, брел по улице. Забыть ту улыбку в подворотне. Надо же, кому-то и он интересен? Пустую болтовню, с которой все началось: она спросила, где он учится. Свою беззащитность, когда она взяла его руку в свою, а другой погладила по щеке, ее нездоровые эротические намеки; потрясение, когда он осознал, что желание перебороло волю и он последовал за ней в убогую каморку в мансарде, где она принялась целовать его, грубо ласкать пальцами спину, а потом разделась сама и раздела его, оседлала его, обхватив ляжками, и так плотно сжала, что ему казалось, будто он вновь рождается. Забыть секунды экстаза, когда, казалось, мозг полностью отключился, забыть влажные пятна на пожелтевшем постельном белье. Забыть монеты (одна сверх оговоренной суммы, да, та крупная); забыть стыд и бесцельное блуждание по улицам, пока не развеялся опиумный дурман, а после этого – все коленапреклоненные моления о прощении и страхи, что в паху у него вырастут огромные бородавки.

Года два после этого он на пушечный выстрел обходил портовый квартал, если ему нужно было куда-то поблизости. Потом он попытался разобраться в своих впечатлениях, думать о той женщине не как о портовой девке, а как о ночной подруге, но когда его вовсе одолело аскетическое раскаяние, последовал материнскому совету. Или скорее наказу, а не совету: огласить помолвку с молочно-белой Идой Калмейер. На минуту отвлекшись от вышивания, та благосклонно согласилась.

Ида. Часть далеко идущего плана: поскорее стать пастором в городе, потом старшим пастором епархии. С годами его голос будет звучать и на епископских соборах. С ним рядом фру Швейгорд, урожденная Калмейер. Может, бледноватая, зато целомудренная, верная, на нее можно опереться, двигаясь к конечной цели – осуществлению своего призвания. Это важнейшее слово в семье Швейгорд. Слово, затмевающее все другие, оно куда важнее слова «счастье». С самого раннего детства мать Кая, в любой рождественской гостининой самая категоричная, облаченная в самый черный траур вдова, внушала ему, что самое важное в жизни – это призвание.

Фрёкен Калмейер она присмотрела на каком-то светском празднике. Кай видел, как все происходило. Прищуренный взгляд матери, задержавшийся на юной девушке за фортепьяно; быстрые подсчеты в уме, пока мать подносила к губам и опускала на блюде чашку тонкого фарфора, выдали ее мысли: Кай и фрёкен Калмейер – сочетание выигрышное.

Это был бы брак по расчету, династический союз, латка на прорехе. Прореху являл собой младший сын Кай, несколько несобранный, временами вспыльчивый, неровно успевавший в школе, не дотянувший масштабом до дяди, государственного мужа. Кай не годился в дипломаты, поскольку его самым большим недостатком было то, что он долго копил в себе раздражение, а потом вдруг без видимой причины взрывался. К истории и корням интереса он не проявлял. Сколько можно рассуждать! Действовать надо, по собственному разумению убеждать, не тянуть кота за хвост! Главным лицом норвежской деревни по-прежнему был пастор, и Кай решил, что правильно будет пойти по церковной стезе. Если дядя Кая реформировал Норвегию, строя железные дороги, развивая школьное образование и телеграф, то Кай Швейгорд ставил перед собой схожие цели, но действовать хотел изнутри, облагораживая душу народа и готовя людей к новым временам.

Мать пришла в ярость, узнав, что его отправляют в глухомань, в Гудбрандсдал, но он успокоил ее, объяснив, что Бутанген-то как раз и представляет собой первую ступеньку той

карьерной лестницы, которая максимально быстро приведет его наверх, прямо в окошко кабинета престарелого старшего пастора в Лиллехаммере.

Лучше быть королем в крохотном королевстве, чем принцем в обширном! Бутанген – его крещение огнем.

А там он благодаря Астрид Хекне осознал, что от женщины больше пользы не тогда, когда она согласно кивает. Никогда раньше он не чувствовал себя таким одиноким, хотя деревенские не были какими-нибудь бирюками. В селе не обижали своих чудаков и музыкантов, все рады были пуститься в пляс, пусть даже лил дождь или битюг хромал. Но в местных порядках и диалекте разобраться было сложно. Людей, которые здешним обитателям были не по нраву, они называли *поперечными*; почти обо всем можно было сказать, *с руки* это или *не с руки*, а *лепый* явно не означало нечто противоположное слову *нелепый*. Только разберешься в одном непонятном обычае, как сталкиваешься с другим. Никогда местные не ответят четко, да или нет. Если не согласны с чем-то, прикидываются тугодумами. Зато если решатся на что-то, работают быстро и умело.

Однажды Кай спросил у Астрид, почему в дождь в церковь приходит меньше народу. Она объяснила, что многие бедняки носят обувь по очереди. Его удивляло, что некоторые семьи никогда не появляются в церкви на праздники. Одежи своей стесняются, сказала Астрид, ведь как раз в праздники это особенно бросается в глаза. Позже он заметил, что в церкви никто не садится на самую дальнюю скамью, и не мог понять почему.

На этот раз она замешкалась с ответом.

– Так ведь потому, что никто не хочет, – наконец сказала Астрид.

– Из-за сквозняка?

– Да нет, потому что... ну, вы уж, пастор, извините меня.

– Да говори же!

– Это скамья для гулящих.

– Что? Для потаскух... нет, для блудниц?

– Да ничё, старый пастор куда хуже говорил.

– Это как же?

– «Скамья для шлюх». Еще и пальцем на девушку покажет, расскажет, что она натворила.

«В устрашение и назидание сельским распутницам», – говорил он.

– Да что ты? Я и не знал.

– Он тем ребятам, которые ему не нравились, специально задавал вредные вопросы на экзаменовке перед конфирмацией, чтобы их завалить. А девушек, которые нагуляли детей, заставлял садиться позади. Поначалу, может, для того чтобы они могли выйти покормить дитятко. Они ж в одиночку ребенка ростили, помочь было некому. Но когда он на них показывать начал, они просто перестали ходить в церковь.

– Отдельная скамья? Всем на посмешище? Я понимаю миссию церкви ровно наоборот. Конечно, блуд и безотцовщина – это безобразие, но ведь церковь обещает прощение грехов и спасение! В храме должно быть чисто и светло; и там должно найтись место для каждого.

\* \* \*

Мало-помалу новый пастор научился исправнее справляться со своими обязанностями: молебны, крестины и свадьбы проводил без сучка без задоринки. Занимаясь помощью неимущим и прочими благотворительными деяниями, он нередко приходил в отчаяние, но не складывал рук и брался за все новые дела. Когда он последний раз ездил в Волебрюа обсудить церковные вопросы с главой местной управы, к ним заглянул ленсман и спросил, не возьмет ли Швейгорд на себя выплату вознаграждения за отстрел хищников. Собственно говоря, это входило в обязанности судебного пристава или самого ленсмана, но, поскольку участок рас-

полагался далеко от Бутангена, куда удобнее было бы всем, если бы Швейгорд взял это на себя. Говорят, теперь так заведено во многих удаленных приходах Норвегии, сказал ленсман. Это избавляет уставших охотников от долгой поездки, позволяя им отдавать силы на противостояние ненасытным зверям, которые режут скотину у бедных людей, лишая их пропитания. Но Швейгорд совсем не разбирался в том, шкуры и когти каких животных ему показывали. Однако даже он видел, что охотники, принося ему когти самых разных птиц, дружно утверждали, что это когти беркута: за хищника вознаграждение было высоким и равнялось зарплатку батрака за несколько дней. Однажды охотник принес волчью шкуру, и Швейгорд заплатил, хотя шкура эта была подозрительно маленькой. Швейгорд стал опасаться, что охотники потешаются над ним, а то и хуже – над духовенством вообще. На следующей неделе мужик протянул ему темно-коричневую шкуру росомахи. Пастор попросил его подождать, сказав, что сходит «в комнату, где света больше».

Быстро пройдя по коридору, он заглянул в светелку, где работала Астрид.

– А скажи-ка, – шепнул он, прикрыв за собой дверь, – это шкура росомахи?

Запустив пальцы в мех, она потеряла ими волосы на шкуре.

– Это? Да это же овчина. Шерсть-то вона какая мягкая. Надо вот так пальцами против ворса провести, тогда почувствуешь. Вот так. Да не так, а так!

Вернувшись к охотнику-прохвосту, Швейгорд задал ему головомойку и отправил восвояси, не заплатив. Позже один мужик принес ему две шкурки рысят. Их Швейгорд тоже понес смотреть в комнату, где света больше.

– Рысь? – сказала Астрид. – Не-е. Лисята, должно быть. Просто труба отрезана.

– Какая труба?

– Правило. Ну, хвост. Шкуру снимали против шерсти, должно быть, и хвост отрезали, а мех зачесали назад, и получился такой вот клочочек, будто маленький хвостик. Но это лисица.

Пастор попробовал запустить пальцы в мех, как делала она.

– Откуда ты все это знаешь? – спросил он.

– Как-нибудь потом расскажу. А кто за деньгами пришел?

– Мужчина с хутора, который называется Гардбоген.

– Гм... – сказала она.

Швейгорд вернулся к мужику и внимательно оглядел его. Сермяжные штаны истерты до блеска, обмороженное лицо. Швейгорд охотно заплатил бы за рысь, хотя за нее полагалось гораздо большее вознаграждение, чем за лису. Охотнику он мягко сказал, что тот ошибся, но вот ему деньги за две лисы и пусть приходит опять с очередной добычей.

Постепенно о новом пасторе пошла молва, что он умеет отличить когти петуха от когтей ястреба. Но главное, Астрид объяснила ему, что жульничать с вознаграждением людей подталкивает нищета. Астрид стала для пастора настоящей путеводной звездой в хитросплетениях гудбрандсдалской жизни, и свет этой звезды сиял все ярче.

Пока она не постелила не ту скатерть.

Случилось это глубокой осенью, Швейгорд ожидал к себе для беседы о церковных делах главу управы и директора банка. Согласно традиции, стол для трапезы следовало застелить скатертью в цветах, символизирующих церковный год: фиолетовый, белый, красный и зеленый. Но когда он спустился в столовую, то увидел, что стол накрыт лиловой скатертью для адвента, так что пришлось указать Астрид на это и напомнить, что гости вот-вот пожалуют.

– Помогите мне тогда, чтобы не припоздниться! – сказала она.

Он так и сделал, не задумываясь о том, что выполняет женскую работу. Отошел к торцу стола и приподнял скатерть со своей стороны. Они начали складывать ее; он пытался смотреть, как делает Астрид, ловко управляясь с работой, и повторять за ней: поочередно то захватывая ткань большими пальцами обеих рук, то отпуская ее, она продвигалась вдоль стола, так что

складки ложились навстречу одна другой. У него получилось, но им приходилось контролировать свои действия, чтобы работать синхронно, иначе лиловая скатерть съехала бы на пол.

Работая, они двигались навстречу друг другу.

Но тут он неудачно сменил руку, Астрид сбилась с ритма, скатерть натянулась и заколыхалась. Дрожь его рук отдалась в полотне волнами, которые словно от ветра докатились до Астрид, а потом покатали от нее назад, такие же сильные, но уже более частые. Он тяжело сглотнул, не сумев унять дрожь, и они вдруг оказались совсем близко, и чем короче становилась скатерть, тем туже она натягивалась и тем сильнее колыхалась, и Кай, ощущая бессилие, осознал, что ткань своей формой отражает его желание. Так они и двигались вдоль стола, пока не подошли вплотную друг к другу и он не ощутил исходивший от нее аромат. Должно быть, она воспользовалась новым мылом. Так они и застыли, не смея отвести глаза друг от друга, но мгновение промелькнуло, и Астрид выхватила из рук Кая его половину скатерти и исчезла, и только тогда он заметил, что в дверях стоит старшая горничная Брессум.

На следующий день Астрид не появлялась. Нанимать и увольнять слуг было прерогативой фру Брессум. Швейгорду пришлось бы обратиться к ней, чтобы вернуть Астрид. А тогда следовало бы назвать причину, а причину эту вслух назвать было невозможно, а если бы он промямлил что-то другое, защитные покровы спали бы с его плеч и все слуги увидели бы, что под пасторским облачением скрывается пастор в мирской одежке и что под ней пастор наг.

\* \* \*

Поплотнее запахнув пальто, он двинулся к усадьбе. По пути он обдумывал свой план, в надежде, что на этой неделе доставят наконец письмо из Дрездена. Он торопился и решил брести напрямую, протаптывая дорожку в глубоком снегу, который так и взвихрялся из-под его кожаных сапог с высокими голенищами. На дворе усадьбы он увидел запряженную в бричку лошадь; арендатор беседовал с каким-то чужим мужиком. Зайдя в дом, Швейгорд едва успел притворить за собой дверь, как старшая горничная Брессум известила, что его ждет «кто-то там из Хекне». Он снял шляпу, зажал пальто под мышкой и одолел лестницу в несколько скачков. На табурете возле его кабинета сидела не кто иная, как Астрид Хекне.

## Тайна детей гор

Герхард Шёнауэр вышел из зала, где слушал лекцию о декоративном искусстве Мавритании. Он был извещен о желании профессора Ульбрихта побеседовать с ним. Профессору, располневшему педантичному мужчине, было хорошо за шестьдесят. Его лекции по истории искусств нравились Герхарду больше всех других, и он не раз удостоился чести посетить закопченный табачным дымом кабинет Ульбрихта, расположенный в западном крыле здания. Впрочем, это помещение можно было назвать кабинетом только формально: одной из многочисленных привилегий, полагавшихся профессорам Академии художеств в Дрездене, было предоставление в их распоряжение огромных площадей. Этот кабинет, столь просторный, что, приведи кто-нибудь туда лошадь, ее не сразу и заметишь, сочетал в себе черты мастерской, учебной аудитории, галереи искусств и салона. Если же говорить о самом Ульбрихте, то бытовала шутка, что эта лошадь нашла бы там чем подкрепиться. Потолки в кабинете были шестиметровые – это требовалось для посвящения студентов в особенности работы над стенными росписями дворцовых помещений. Письменный стол окружали полки с громоздившимися на них томами в древних кожаных переплетах, горами листков и пожелтевшими бумажными свитками. Вдоль стен выстроились ряды деревянных подрамников с рисунками и живописью; их было так много, что они занимали половину площади кабинета. Ульбрихт разместил картины даже на потолке: большей частью это были репродукции фламандских художников, но имелись также работы арабских и персидских мастеров. Это просторное помещение казалось тесным, что тоже было своего рода достижением. Опасаясь наступить на какое-нибудь неочевидное сокровище, привезенное профессором из дальних странствий, Герхард с опаской переставлял ноги и не поднимал глаз от пола.

– С Новым годом, герр Шёнауэр! – сказал Ульбрихт и продолжил в своей обычной чопорной манере: – Занятость не позволяет мне уделить много времени разъяснению вам сути дела. Ознакомившись с вашими работами, я заключил, что вы превосходно – да что там! – исключительно хорошо разбираетесь как в орнаментике, так и в архитектуре. Притом что две эти дисциплины весьма отличаются по своей сути.

Герхарду были знакомы профессорские причуды. Вступление прозвучало, теперь профессор, ожидавший вежливого кивка, его получил.

– Пора бы вам уже определиться с направлением дальнейших изысканий, – сказал Ульбрихт. – Позвольте спросить вас прямо: чему вы желаете посвятить себя? Изобразительному искусству или архитектуре?

– Э-э-э, трудно сказать, – выдавил Герхард.

– Да? А я как раз хочу, чтобы вы сказали!

– Большое спасибо. Просто я плохо умею объясняться вот так – спонтанно.

– Ха-ха, а вы попробуйте! Между нами, герр Шёнауэр, в этих коридорах хватает прожекторов. А для вас было бы полезно серьезно задуматься над тем, к чему вас более всего влечет. Вы редкая птица, скажу я вам! Обладание разносторонними дарованиями имеет свои минусы. Вы рискуете провалиться между двумя стульями, не достигнув вершин мастерства ни на одном из поприщ.

– Больше всего меня привлекает архитектура. Но, пожалуй, и пугает тоже.

– Почему же? Попробуете объяснить?

– Она на виду у всех, так и должно быть. Но если бы я выбрал архитектуру, то...

– То что?

– То мне бы хотелось, чтобы мимо моих творений люди проходили каждый день. И пусть не разглядывали бы их внимательно, но чтобы им нравился их вид в целом и чтобы это не требовало от них никаких усилий. Чтобы проходя мимо здания, они знали, что оно будет стоять

на этом месте и через сто лет. Наверное, впечатление от картины глубже, но красивая вилла, особняк, ратуша – они находятся в самой гуще жизни.

– А что с орнаментикой?

– Как бы сказать... Она скорее мимолетна, и ее разглядишь только вблизи. Но мне по вкусу симметрия.

– Гм! Послушайте, Шёнауэр. Календарь со всей очевидностью говорит нам о том, что приближается время учебных поездок. Задам вам простой вопрос: вы обеспечили себе стипендию?

– Мне бы хотелось снова отправиться в Лондон, – сказал Герхард, – чтобы иметь возможность лучше изучить строения, возведенные Реном и Джонсом.

– Понимаю, но я спросил, нашли ли вы средства для такой поездки?

Слова не шли с языка. Платить за учебу приходилось очень дорого, и большинство сокурсников получали денежную помощь от богатых родственников, разбирающихся в искусстве. Наличие или отсутствие средств влияло на возможность путешествовать. Состоятельные студенты строили планы один экстравагантнее другого: поехать во Флоренцию или Милан, где целый день рекой льется вино, учиться копировать скульптуры и – что живо обсуждалось вечерами – совершать вылазки в не слишком дорогие, но отличные бордели Ломбардии.

– Когда вы ездили в Лондон? – спросил Ульбрихт.

– Пару лет назад, но пробыл очень недолго. Всего две недели. И еще две недели в Кембридже. Короткая поездка, однако очень полезная.

– Кто же покрыл ваши расходы в тот раз?

Герхард закусил губу:

– Никто, герр профессор. Я оплатил поездку, продав портреты, которые писал вечерами. Я в этом не особенно силен, но справлялся.

– Ну что ж, похвально! Так, значит, вы не нашли благотворителя?

– К сожалению, нет.

– Вы ведь из Восточной Пруссии, верно? Из Кёнигсберга?

Герхард опешил. С чего бы это профессор расспрашивает его о том, откуда он родом? Видимо, Ульбрихт готовился к этой встрече.

– Вообще-то нет, – сказал Герхард, – мои родные живут в Мемеле, это еще дальше на восток.

– Ага, так! Значит, на самой окраине. А скажите мне – в тех местах сохраняются богатые традиции деревянного зодчества, не так ли?

– Да, действительно. У нас используется даже особый вариант русского крестьянского способа возведения бревенчатых домов, с соединением лишь по углам.

Ульбрихт кивнул:

– А скажите-ка, юный Шёнауэр, готовы ли вы к настоящим испытаниям?

Герхард ответил *да* и, стараясь изобразить восторг, промямлил, что на такой вопрос *нет* не ответит никто из студентов, по-настоящему увлеченных искусством. И тут же осознал, насколько банально прозвучали его слова.

– Вот это правильный настрой! – воскликнул Ульбрихт, похлопав Герхарда по плечу. – Мне как раз нужен человек, готовый из любви к архитектуре отправиться в очень экзотическое место.

Герхард пробормотал, что он бы с радостью, но...

– Ах, я вижу вас насквозь! – воскликнул Ульбрихт. – О расходах не беспокойтесь. – Он склонился поближе и прошептал: – *Расходы покроет королевский дом Саксонии!*

Герхард растерялся. Деятельность Академии художеств осуществлялась под эгидой монархии и под личным контролем Альберта Саксонского. Но в устах Ульбрихта это прозвучало так, будто регенту уже известно об этих планах.

– Большое спасибо, герр профессор, но...

– Вдобавок финансовое вознаграждение получите лично вы. И весьма щедрое! Сама поездка займет семь месяцев, поскольку среди прочего там придется заниматься транспортировкой по льду в зимнее время! Ха-ха, вижу, вы заинтригованы! Что ж, раз вы решились сказать *да*, давайте встретимся здесь завтра.

– И куда же вы намереваетесь меня откомандировать?

– В норвежскую часть Швеции!

– В Норвегию?

– Да-да. Далеко на север. Не беспокойтесь, эти места можно найти на географических картах.

– Но герр профессор – извините, что я так говорю, – о какой архитектуре там можно говорить? Это же отсталая страна, в которой преобладает примитивное земледелие? Мне кажется, эти места ни разу не упоминались в ваших лекциях по европейской архитектуре?

Ульбрихт усмехнулся:

– Вы были невнимательны. Однажды я Норвегию упомянул. Да, конечно, убогая страна, но эти дети гор скрывают одну маленькую тайну.

Высоко поднимая ноги, Ульбрихт переступил через стоявшие на полу гипсовые головы и снял со сломанной руки статуи Саломеи пальто, висевшее там. На голову Саломеи была нахлобучена шляпа, а вокруг шеи обмотан шарф цвета киновари. Разматывая его, Ульбрихт проговорил:

– Сегодня я очень занят, Шёнауэр. Приходите завтра к десяти. Сюда. – Он снял шляпу с головы статуи. – Кстати – я прошу вас не распространяться об этом.

\* \* \*

Не распространяться у Герхарда не получилось. В тот же вечер, но только когда Сабинка уже оделась, он рассказал ей, что собирается в Норвегию.

– В Норвегию? Там же можно замерзнуть насмерть. Она граничит с Гренландией!

– Нет, нет. Это просто часть Швеции. От Гамбурга пару дней на пароходе.

– Ну ладно, а надолго?

– Да нет, на два месяца. Может, на три.

– На три? Три! Невозможно же было выдержать, даже пока ты в Англию уезжал!

И она говорила правду. Он хорошо знал: тот единственный месяц, что он изучал городскую архитектуру в Лондоне и Кембридже, выдержать ей не удалось – проговорился один его однокурсник. Он честно расскажет, что уезжает на целых семь месяцев, позже, иначе она уже теперь заведет себе другого.

– Я поеду не раньше апреля, – сказал он. – И на этот раз мне заплатят. Щедро заплатят.

– Да уж неплохо бы. А то наобещают и не сделают. Ну, иди, пока никто не пришел.

Сабинка относилась к жизни легко. Она была сестрой обнаженной натурщицы из Мерена, одной из девушек, к которым студентам строго-настрого запретили приближаться, но предприимчивые студенты сразу же сблизились с ними. Навестив родителей на Рождество, Герхард вернулся в Дрезден отпраздновать Новый год с Сабинкой на разудалой вечеринке в пивнушке «Линденкруг». Прежде чем войти туда, посетители оглядывались по сторонам – не увидит ли кто-нибудь знакомый. В помещении звенел смех женщин, которых репутация не беспокоила, а внимали этому смеху мужчины, которым эти женщины были по вкусу, но для брака не годились.

Сабинка была толще и плотнее сестры, с огрубелой от работы прачкой кожей рук. Герхард нарисовал несколько портретов сестер, карандашом и углем, но, рисуя Сабинку, старался не давать волю фантазии. Лицом Сабинка вышла красивее сестры, хоть и склонна к полноте.

Груды у нее были такие большие, что зимой замерзали. Он опасался, что со временем их красота увянет.

Но сейчас она молода и он молод, они оба молоды, и оба в Дрездене.

Простившись с ней, он направился на съемную квартиру в районе Антонштадт, но не напрямик, а в обход, мимо розовой барочной церкви. Свернул на освещенный двумя рядами газовых фонарей променад, постоял на набережной Эльбы, разглядывая отражавшиеся в воде прекрасные здания. Фонтаны, скульптуры на крышах, фасады домов, которые не портила окраска в голубой и светло-зеленый цвета.

С реки налетел ветерок, погладив его по щеке. За спиной послышался цокот копыт; с дрожек сошла элегантно одетая пара.

Дрезден. Не город, а произведение искусства. Сумма помыслов, слишком великих, чтобы они могли зародиться в голове одного-единственного человека, даже чтобы они могли зародиться в голове целого поколения людей. Красивейший город Европы, единственный, который мог бы сравниться с Флоренцией. В каждое здание вложены амбиции, вкус, деньги и мастерство. Все возведенное менее чем за пять лет считалось малоценным. Тесаный гранит, черепица, штукатурка, медь, известь и краска. Любое новое здание строили с намерением возвести венец творения, пока кто-нибудь – на следующий год – не ставил себе целью создать что-то более впечатляющее. Так столетие за столетием множилась красота.

Он шел, не разбирая дороги, мимо оперного театра, мимо музеев, церквей, концертных залов. Распахнулась дверь кухни какого-то ресторанчика, и его обдало чадом. В съемной квартире его ждала только пачка печенья.

Наступит день, когда он будет есть и пить все, что пожелает, ходить, куда захочет. Стол накроют, позвякивая приборами, а когда он кивнет, наполовину осушив бокал с пивом, внесут телячье жаркое под ароматным соусом, а официант спросит, не налить ли ему и его спутникам еще.

Герхард Шёнауэр спустился к широкой, величавой Эльбе и остановился, прислушиваясь к плеску волн, вглядываясь в сияние городских огней. Сиял и он – ведь для поездки на север выбрали его! И еще он гадал, в какой норвежский город собирается его отправить Ульбрихт.

## Церковные колокола будут звонить, как звонили

Астрид Хекне встала и сделала книксен, а Кай Швейгорд сказал:

– Невзирая на обстоятельства, очень приятно видеть тебя снова.

Вскоре они уже сидели друг против друга за письменным столом. Столешница была пуста, если не считать стоявшей посередине коричневой склянки, на этикетке которой вручную было выведено: «Растирание от радикулита».

– Клара успела использовать только половину, – сказала Астрид, – вот мы и подумали, надобно отдать оставшееся; господину пастору лучше знать, кому пригодится.

Кай Швейгорд взял склянку в руки. Ее содержимое вязко булькнуло. Швейгорд понятия не имел, что входит в состав линимента, действительно ли он помогает. Но он помнил, как в начале лета раздобыл это снадобье, чтобы снять боли у Клары Миттинг.

Значит, он теперь для Астрид господин пастор. Для чего она пришла, собственно говоря? Растирание от радикулита – просто предлог, на самом деле ее подтолкнуло к этому что-то очень важное. Он посмотрел ей в глаза, и на него нахлынули воспоминания о том, как они складывали скатерть. Астрид поерзала на стуле, поправила шаль, а он кашлянул и направил мысли к той теме, на которой им следовало сосредоточиться, – теме сухонькой старушки, умершей в его церкви.

– Клара была неприхотлива, – произнес Кай Швейгорд.

Склянку он поставил на стол, но чуть ближе к себе, словно показывая, что она вновь перейдет к малоимущим.

– Так у нее и не было ничё, – сказала Астрид. – Больше нести нечего.

– Понятно. Ладно. А тебе как живется на хуторе – хорошо ли?

– Спасибо, изрядно. Раньше лучше было.

Он кивнул, хотя и не понял – когда это раньше?

– А сейчас Клара где? – спросила Астрид.

Какие у нее блестящие волосы. Брови дугой, лукавый взгляд, в нем сквозит пронизательность. Кай вновь ощутил колыхание скатерти.

Астрид, кашлянув, еще раз спросила, где сейчас Клара.

– А... В сарае, где стоят повозки. В гробу, разумеется. Кто в доме Господа умрет, тому, конечно же, дозволяется ожидать погребения в... ну да, в одном из домов Господа.

– Мы вот приехали забрать ее обратно в Хекне. Я да еще работник.

– Значит, это его я видел. Только... В общем, к сожалению, случилось нечто непредвиденное. Придется отложить похороны до весны. Служителю не удалось раскопать землю, так глубоко она промерзла.

– А... – только и сказала она.

– Мне жаль, что так вышло, – добавил Кай Швейгорд, радуясь, что этими словами передал и то, о чем знали только они вдвоем: что Клара замерзла насмерть во время его службы, – еще и потому, что ее собирались похоронить на новый манер.

– Какой такой новый манер? – удивилась Астрид, и в ее голосе Каю послышалось оживление.

Да, вот оно, село, показало себя, подумал он. Как она уцепилась за это слово. Будто оно не вполне приличное!

– Я планировал с этого момента проводить церемонию похорон в храме, – сказал он. – Для всех. Не только для богатых крестьян. Клара будет первой в своем... чине.

Астрид склонила голову набок.

– Покойников прям в церковь занесут? – спросила она.

– В городах так делают уже несколько лет. Не вижу причин, чтобы этот обычай не распространить и на сельские приходы. – Он заметил, что она замялась. – Что тебя беспокоит, Астрид?

– Да вот юбка-то у нее, – сказала она.

– А что юбка?

– Клара же одолжила башмаки и юбку, чтобы идти в церковь. Хотела одеться нарядно, как мы все.

Вот она, проза жизни. Стоит ему придумать что-нибудь хорошее, так обязательно что-нибудь помешает – то мороз, то бедность. Будто за ним вечно увивается ухмыляющийся гном в кафтанчике, ковыряет в зубах и вышучивает все новые идеи.

Чужая обувь. Нарядная юбка. Прочно примерзшие к трупу. Он представил себе, как придется поступить. Дать Кларе постепенно оттаять, содрать с нее одежду, обрядить тело в похоронную рубаху и снова убрать в сарай.

– С одеждой и обувью я разберусь, – сказал Кай Швейгорд, отметив, как бодро прозвучали его слова. Так и должно быть, для служителей церкви никакой труд не должен быть тягостен! – Пусть это тебя не беспокоит, Астрид. Можешь через три дня забрать вещи. Я распоряджусь, чтобы все было постирано и аккуратно сложено, – с воодушевлением продолжал он.

Астрид, похоже, несколько опешила, и Швейгорд порадовался тому, каким решительным – и современным! – он себя выказал. Здесь привыкли, что люди сами отвечают за свою жизнь. Вероятно, его предложение взять ответственность на себя могло показаться неподобающе дерзким. Но в то же время он поймал себя на мысли, что, возможно, его предприимчивость не столь уж бескорыстна; не служит ли ее источником менее альтруистическое устремление, а именно мужское желание произвести впечатление.

– А вот еще про этот новый манер, – сказала Астрид. – По покойникам звонить-то будут? Церковные колокола будут звонить?

– Разумеется. Это обязательно. Часть ритуала. И за это не надо платить!

– А что с теми несчастными, что себя порешили?

Он изумился вопросу. Не потому, что не знал ответа; его поразило, что она заглядывает так далеко вперед.

– Это закон оговаривает четко. Теперь они могут упокоиться в освященной земле, но нельзя проводить бросание земли на могилу и держать поминальную речь. Может быть, закон позволяет собрать родных для короткого прощания, это было бы справедливо. Я подумаю над этим.

Должно быть, где-то в его словах прозвучал невысказанный вопрос, потому что Астрид, кивнув, сказала:

– Конечно. Просто мне это только сейчас в голову пришло. Ведь господин пастор наверняка сами знают, что не каждый вытерпит до конца.

Швейгорд потер переносицу. Не складывался у них сегодня разговор, получался натужным и безжизненным. Возможно, она заметила, что он сам на себя не похож, как она выражалась.

– С учетом... гм... существа дела, – сказал он и снова ужаснулся казенному обороту, – обстоятельства случившегося можно было бы использовать как убедительный довод в пользу похорон по-новому, ведь Клара умерла, как бы это сказать, не дома. Ситуация сложилась несколько... пикантная.

Астрид взглянула на него, но промолчала.

– А ты как думаешь? – спросил он.

– А это не просто бусорь? – ответила вопросом на вопрос Астрид, и он с некоторым раздражением, к которому, однако, примешивалось и нечто дразнящее, отметил дерзость, с которой она парировала его определение *пикантная* диалектным словом, которого он не понял. –

Разом все не поменяешь, – сказала она. – Господину пастору не надо забывать, что людям старые обычаи дороги. Когда кто умрет, всегда стараются знатно его проводить. Мы думали попросить старого учителя отпеть Клару перед тем, как она ляжет в землю.

– Проводы не станут менее торжественными, – сказал Кай Швейгорд, – но будут проходить в рамках, определенных церковью. И для бедных тоже.

Он отлично знал, что родственники стараются ради своих покойников. Проблема состояла только в том, что в похоронные обряды вплетались всевозможные дикие обычаи и суеверия. Здесь жгли солому с ложа покойного и пытались предсказывать будущее по направлению, в котором относил дым; а когда гроб увозили со двора, все неотрывно следили за лошадью, тянувшей повозку или сани. Если лошадь, трогаясь, первой поднимала правую ногу, то из провожающих следующим, считалось, умрет мужчина, если левую – баба, и все начинали вертеть головами, гадая, чей черед умирать. Рассказывали ему и о поминках, растягивавшихся на три дня: бывало, и с карточными играми, и с танцами, а то и с пьяными драками – бесстыжие бабы обзывались и таскали друг друга за волосы, у мужиков доходило до поножовщины с жертвами. Худшим Каю Швейгорду представлялся обычай насильно вовлекать совсем малых детей в проводы покойников. Во время ночных бдений детишек вынуждали смотреть на покойников, обнимать их в мерцающем свете фонаря в руках распорядителя, отбрасывавшем тени на стены помещения. Он знал, что одну маленькую девочку в их селе, надерзливую старику и не извинившуюся, приволокли к его телу, как она ни отбивалась, и заставили целовать его, чтобы проститься с миром. Мало того – на полу оставались лужицы трупной жидкости, так можно и заразу подхватить. Подобные традиции привлекали всевозможных чудаковатых плакальщиков, несших черт-те что и истово проводивших обряды, выходившие далеко за пределы христианских обычаев. Но вот теперь...

– Я тут задумалась, – произнесла Астрид, – в книгах пастора говорится что-нибудь о святом налете?

– Как ты сказала?

Астрид повторила слово, стараясь четко выговаривать все звуки.

– Нет, никогда не слышал о таком, – признался Кай Швейгорд. – Суеверие какое-нибудь.

– А Клара говорила, что его соскабливают изнутри церковных колоколов и что он помогает от многих хворей.

– А, понимаю. Очень бы хотелось развенчать подобные представления. Одна из целей, которую я себе ставлю в Бутангене, – это покончить со всеми формами суеверий и проявлений народной фантазии.

– А как же всякое, что лежит в маленьких шкатулочках? – возразила Астрид – Нам про это старый пастор рассказывал, готовя к конфирмации. Останки святых людей. Ногти, пряди волос, костяшки мелкие.

– А, реликвии! Ну, это в основном у католиков. М-м-м, в подобных случаях – да.

– А разница-то в чем тогда между святым налетом и этим? Кто решает, что считать святым?

– Чтобы разобраться в этом деле досконально, короткого разговора не хватит, – сказал он.

Она посмотрела ему прямо в глаза, сложив губы в едва заметную улыбку, и ее ресницы дрогнули. Хотя и не сказала ничего, он догадался, как она собиралась ответить: «Ладно, тогда, может, капельку кофейку не повредило бы?»

Но сказать такое было бы неприлично для них обоих, вот она и не сказала. Он кашлянул, она кашлянула, но что-то между ними проскочило. Они задумались об одном и том же, вместе встретили одно и то же препятствие, и оба понимали, что и другой знает это.

\* \* \*

Он искоса взглянул на часовой шкаф. Только бы не заявила под каким-нибудь надуманным предлогом старшая горничная Брессум.

– А вот в церкви тогда, после новогодней службы, – осторожно начала Астрид Хекне, – господин пастор говорили про какие-то изменения. Что, мол, все будут «избавлены от таких страданий». Или «освобождены», кажись, так пастор сказали.

«Освобождены? – подумал Кай Швейгорд. – Я так сказал? Не важно – она внимательно слушала!»

– Могу чуть подробнее рассказать, – предложил он. – Нам нужно что-то делать с нашей церковью. Мне бы не хотелось, чтобы об этом начали судачить, но если принять во внимание закон, церковь слишком мала.

– А разве ж не ленсман над церковью главный?

– Нет, не напрямую, но да, на деле ленсман. Закон же гласит, что в храме должно хватать места трети от числа всех прихожан. Я сверился с метрическими книгами. У нас в церкви и десятая часть не поместится. Закон принят еще в 1842 году, хорошо еще, что милостию Божией никто не спохватился и не запретил нам молиться там.

Он замолчал, ощутив глубокую неловкость из-за того, что использовал слова «милостию Божией» в связи с совершенно мирским делом.

– Записи в церковных книгах я стал изучать, как только приехал сюда. У людей так много детей. За шестьдесят лет население села увеличилось вдвое, и это притом, что немало жителей эмигрировало в Америку. А земля родит столько же: собранного не хватает на пропитание всем.

– А разве закон может поделаться что-нибудь с тем, что людей много? Или с тем, что зимой многие недоедают?

Кай Швейгорд не мог ее раскусить – казалось, она играет с чувством собственной любознательности, но в то же время оно было окрашено печалью, которую он замечал у многих в этих местах и в которой сквозило прятие тягот жизни и сомнение в том, что жизнь может стать легче.

– Христианство должно показывать путь к новому, лучшему будущему, – сказал он. – Но сама церковь слишком обветшала. Уж и в Лиллехаммере прослышали, что у нас во время службы человек замерз насмерть. Я обещаю, что ничего подобного тебе больше не придется испытать, но прошу больше никому об этом не рассказывать.

– Значит, господин пастор желают перестроить церковь?

– Будь любезна, не обращай ко мне в третьем лице.

– Нас ведь тут двое только?

– Я имею в виду, что не нужно называть меня господин пастор. Называй меня просто Кай.

– Хорошо, Кай Швейгорд, так, значит.

– Да нет же, я хотел предложить перейти на «ты»! Давай уж пользоваться современными формами общения.

– Да я поняла. Шучу.

– А... И да, я считаю, надо что-то делать с церковью.

– Это что, тайна?

– Ну, скажем так.

– Да пусть, – сказала она. – Я умею хранить тайны.

Он чувствовал, что стоит на пороге чего-то неизведанного. Ему редко доводилось бывать наедине с женщиной, и что-то незнакомое и радостное рвалось наружу из потаенного уголка, что-то дерзкое, но в то же время отрадно естественное. Он не мог отвести от Астрид глаз и

снова поддался непреодолимому желанию приблизить ее к себе, посвятить в свой мир, и он рассказал, что, хотя сейчас похороны придется отложить, он планирует построить покойницкую. Но и это не произвело на нее должного впечатления. Она ни о чем не спросила, не удивилась, выслушала его как-то отрешенно. Она так и сидела в верхней одежде, и он не мог понять, потому ли, что не собиралась задержаться у него, или потому, что еще не согрелась.

Он спросил, не холодно ли ей.

– Бывало и холоднее. Да ты и сам знаешь.

Он встал, достал шерстяной плед в темно-зеленую и черную клетку из шотландского тартана и подошел к ней. Он знал, какова жизнь на хуторах. Люди накрывались небрежно выделанными и резко пахнущими шкурами овец, коз или телят. Его плед по краям был отделан бахромой. Она могла бы носить его как шаль или накрываться им, ложась спать. Прекрасное изделие из шерсти, утонченное, как, собственно, и вся пасторская усадьба с ее изысканной, хотя и несколько запущенной обстановкой: крашенные деревянные полы, окна в мелкую расстекловку, веранда. И вдруг его посетила амбициозная идея – ему страстно захотелось увидеть Астрид Хекне здесь, в этой обстановке, в другом обличье: приодетой, воспитанной. Так меняется сосновая доска, когда ее обстрогают и покрасят.

Пастор чуть замешкался, потому что этот порыв шел от чистого сердца, ничего иного в этом не было, нельзя было толковать это как нечто интимное; и он остановился слишком далеко от нее, пришлось слишком сильно нагнуться и вытянуть руки далеко вперед, протягивая ей плед.

– Мое дорожное покрывало, – сказал Кай Швейгорд. – Мне его подарила моя матушка. Можешь взять его до весны. Я никуда не собираюсь уезжать. А, кстати, прихвати еще и газету. Можешь не возвращать! – Он закусил губу. – Сразу не возвращать. Я собираю подшивку. Но и газету, и плед можешь держать, сколько пожелаешь.

Ему вдруг бросился в глаза газетный заголовок. «Пароход «Финнмарк» попал в шторм и едва не сел на мель».

Астрид провела по пледу ладонью. Медленным, бережным движением. Ее тонкая рука едва касалась мягкой шерсти, будто она погладила Швейгорда по руке, и тонкие волоски на ней легли в сторону Астрид.

– Ладно, спасибо большое тогда, – сказала она, аккуратно складывая плед и газету. – Но надо крепко подумать, прежде чем менять сразу много порядков.

– Спасибо и тебе! – кивнул Швейгорд. – Мы должны идти в ногу со временем. От этого все только выиграют. Была не была, расскажу! Как на духу! Уже скоро, Астрид, у нас будет новая церковь!

Астрид подалась вперед. Кай продолжил:

– Я сразу же, как только приехал в Бутанген, увидел, что нужна новая церковь. Его преосвященство епископ Фолкестад в Хамаре тоже считает, что величайшей внешней преградой отправлению религии являются обветшалые и холодные храмы. Он мне писал, что богослужения не следует совершать в хозяйственных постройках, как это делается много где в Гудбрандсдале.

– А денег-то епископ даст?

– Нет, и в этом-то вся загвоздка, Астрид. Я встречался и с главой управы, и с ее членами. Все согласны, что дело нужное. Но деньги взять неоткуда. Было неоткуда.

Она склонила голову набок, показывая, что готова слушать дальше, но он, сумев обуздать себя, сказал, что не все еще оговорено.

– Но, – добавил он, кашлянув, – церковные колокола будут звонить над селом, как звонили.

И она ушла. Но не воодушевилась, как он надеялся. Наоборот, на вид сразу стала как-то взрослее, непокорнее. Их прощание будто подпортил какой-то дурной запах, распространен-

ный его словами; они прозвучали скорее искательно, чем сердечно, и она не накинула плед на плечи, а зажала его под мышкой и, выходя, сама открыла дверь.

Кай Швейгорд прислушивался к ее шагам, удалявшимся по коридору. Потом повернулся к стоячей вешалке и порылся в карманах пальто в поисках трубки и кисета. Будут звонить. И зачем надо было под самый конец вернуть самоочевидную вещь? Отложив трубку и табак, он отпер ящик бюро и достал из него копию последнего письма в Дрезден.

## Божий перст указал на Норвегию

Наутро Герхард Шёнауэр пребывал в таком возбуждении, что порезался за бритьем, возле самого уголка рта, и по пути в академию то и дело касался ранки языком.

Ульбрихт представил его двум мужчинам, стоявшим в разных концах кабинета и разглядывавшим произведения искусства на стенах. Один из них, обладатель пышных усов по имени Кастлер, сильно попахивал помадой для волос, и Герхард подумал даже, что ослышался, когда профессор обратился к нему как к придворному кавалеру и посланнику королевы. Второй выказывал некоторое нетерпение и на приветствие Герхарда буркнул нечто невразумительное, из чего тот понял только, что это полномочный представитель бургомистра.

– Позвольте, господа, – сказал Ульбрихт и повел их, мелко переступая, к круглому столу, – я начну с того, что, возможно, не всем известно. – Он остановился и простер руку вверх, как бы приглашая обратить внимание на размеры кабинета. – Когда-то это помещение принадлежало профессору Далю. Да, тому знаменитому норвежцу. Его полное имя – Йохан Кристиан Даль, хотя в книгах обычно пишут просто Й. К. Даль. Принадлежит к числу его учеников, я имел счастье тесно сотрудничать с ним, а по его кончине в 1857 году ко мне перешел как кабинет профессора, так и его должность. Даль прославился как пейзажист, однако не многие знают, что он оставил также множество изображений средневековых зданий, возведенных на его родине. Так совпало, что и я всей душой предан делу изучения культурных корней древних германцев.

Неспешно, словно священнодействуя, он опустил ладонь на большую книгу в богатом переплете, и Герхарду вспомнилось, как он слушал лекцию Ульбрихта о средневековой скандинавской орнаментике. Профессор упомянул тогда, что владеет дорогой книгой с иллюстрациями самого профессора Даля. Книга была отпечатана очень малым тиражом. Наверняка в ней представлены фантастическая резьба по дереву и архитектурные жемчужины.

– Высокоцитимые господа, – сказал Ульбрихт, и Герхард сразу понял, что им предстоит долгая и помпезная лекция.

Профессор был так начитан, что выразаться простым человеческим языком разучился. «Даже говоря о погоде, он изъясняется как страница из энциклопедии», – заметил как-то один из соучеников Герхарда.

– Далее речь пойдет о сложившейся в настоящий момент чрезвычайной ситуации в области истории искусств, и даже скорее философии искусств, – сказал Ульбрихт. – Последние образцы непревзойденной европейской средневековой деревянной архитектуры разрушаются, причем намеренно! Я имею в виду, разумеется, мачтовые церкви в Норвегии. В прежние времена эта сумрачная горная страна насчитывала более тысячи таких церквей. Удивительнейшие сооружения, не имеющие аналогов в мире.

– Где? – перебил его представитель бургомистра. – В Норвегии? Шутить изволите?

– Я сам был изумлен, услышав об этом, – сказал Ульбрихт. – Теперь, к сожалению, они почти полностью ушли в небытие. Остается только пятьдесят, и каждый год уничтожают все больше, каким бы безумием это нам ни казалось. Это не стало бы катастрофой, будь мачтовые церкви заурядными строениями, какие мы и ожидаем видеть в убогой Норвегии. Но вот ведь какой парадокс! Сегодняшняя Норвегия являет собой совсем другое общество, чем во времена, когда возводились эти церкви. Сейчас это бедная и перенаселенная страна, но так было не всегда.

– На нас тоже лежит ответственность за сохранение культурного наследия, – вставил представитель бургомистра. – Ваши слова заставили меня вспомнить о том, что происходило в других переживавших упадок и вырождение государствах. К примеру, в Египте или Персии. Как только общество перестает справляться с поддержанием условий существования своих

членов на должном уровне, падение нравов наблюдается в первую очередь в культурно-исторической сфере. Египетские разорители гробниц столетиями торговали артефактами, которыми могла бы гордиться их страна; таков ход истории. Достаточно одного человека, в котором в какой-то момент голод возьмет верх над рассудком, и – паф! – всеобщее достояние, древнее сокровище, уже тайно продано на базаре. И я без ложного стыда признаю, что наши музеи являются одними из лучших в мире именно благодаря тому, что в трудную минуту мы нашли время спасти эти сокровища. Дрезден уже служит хранилищем мировой культуры и будет таким и дальше!

– Непременно! – подхватил Ульбрихт. – Как раз сейчас подобная ситуация, назовем ее египетской, сложилась и в Норвегии. Тысячу лет назад северяне отличались высокоразвитой культурой, но теперь они плодятся как кролики, и о воспитании подрастающих поколений им некогда задуматься. К тому же они голодают, поскольку, занимаясь сельским хозяйством, пользуются средневековыми методами. В целом ситуация в Норвегии много хуже египетской, поскольку там мы имеем дело с систематическим и намеренным уничтожением памятников культуры. Власти даже приняли закон о минимально допустимых размерах церквей, и вкуче с ростом народонаселения это привело к вакханалии разрушений во имя модернизации! Очевидно, все древние церкви пойдут под топор, и уже скоро.

Придворный кавалер Каствлер сдержанно кивнул, как бы соглашаясь пока со словами Ульбрихта. Говорил он мало, но держался так, будто одного его слова достаточно, чтобы даже в самой скромной просьбе было отказано. Одет он был в роскошный двубортный костюм, а на вешалке красовались его блестящая шляпа и пальто с высоким воротником.

– В свое время Норвегия, – напомнил профессор Ульбрихт, – была ведущей морской державой Европы. Мало того, Норвегия была настоящим государством! Береговая линия его материковой части была длиннейшей во всем цивилизованном мире, владычество страны распространялось на Фарерские острова, Исландию, Шетландские, Оркнейские острова и большую часть Гебридских, а также на окраинные области Швеции и на лучший участок побережья Гренландии. Да, множество лиц королевской крови погибло от меча, при дворе и в дворцовых постелях плелись интриги, но страна сохраняла господство над Северной Атлантикой, а властители разных уровней породнились с королевскими домами Европы. Норвежцы были безмерно богаты! И это до наступления нашего злосчастного времени, когда богачи кладут деньги в банк, чтобы получить еще больше денег. В те времена ренты не существовало. Деньги нужно было тратить здесь и сейчас, на что-то осязаемое. Продуктом сочетания денег, власти и желания оставить по себе память, милостивые государи, является искусство! Здания!

Профессор Ульбрихт откашлялся. Он так и не раскрыл иллюстрированное издание. Герхард заподозрил, что он делает это – в духе своих лекций, – только когда нетерпение слушателей достигнет высшей точки, и морально настроился на долгое ожидание.

– Позвольте мне в кратких чертах пояснить вам, в чем состоят особенности мачтовых церквей, – продолжал профессор. – Христианство пришло в Норвегию поздно, язычники противились переходу в новую веру. Но папа потребовал расширения деятельности миссионеров в этой стране мореходов, поскольку они господствовали на всех морях. Проблема состояла в том, что норвежцы были своенравны, необузданны и преданы своей истово практикуемой естественной религии, ритуалы и обряды которой были детально разработаны, с поклонением агрессивным воинственным богам и с сонмом фантастических легенд и повествований о сотворении мира, знакомым нам по нашему общему германскому наследию. В Ватикане, однако, деньги на поддержку христианизации имелись. Божий перст указал на Норвегию! Так география, католическая вера и мастерство ремесленников сошлись неповторимым образом.

Ульбрихт достал с полки атлас, пролистал его до страницы Норвегии и Швеции и дважды пробормотал какие-то слова. Герхард узнал их: это была обычная прелюдия Ульбрихта к основной канонаде.

– Вот смотрите. Территория Норвегии труднодоступна и малопроезжима. Силы природы изрезали сушу, превратив ее в лабиринт, в укрепление с грозными горными перевалами, бесконечно ветвящимися фьордами и бурными реками. Вера в творца не должна была закрепиться лишь в прибрежных городах, – сказал он, тыча пальцем в Тронхейм и Берген, – нет, она должна была проникнуть в глубь страны. – Он передвинул указательный палец к центру карты, мимо плоскогорья Довре, обогнул ту область, где от одного названия до другого было много пустого места, и остановился на Гудбрандсдале. – Вера должна была проникнуть сюда, в средоточие тьмы, в языческие будни. Да уж, чтобы пустить прочные корни в Норвегии, христианству, словно козерогу, приходилось цепляться за скалы. Требовалось построить множество церквей: пусть маленьких, но много.

– Очень интересно, – откликнулся придворный кавалер Каствлер и тут же замолк.

Профессор пробубнил что-то, кашлянул и продолжил:

– Из строительных материалов у них имелось дерево. Причем в избытке, высоченные сосны. Изумительный материал, крепкий и прочный, как нельзя лучше пригодный для тех ремесел, которыми мастерски овладел этот суровый северный народ: судостроение, плотницкое дело и искусная резьба. Их древняя северная вера являла собой в высочайшей степени визуальную религию, они не боялись изображать лик Божий, в отличие от мухамедан. Нет, скандинавский декор богат и выразителен.

– Гм-м, – сказал Каствлер. – И дорогостоящ.

Ульбрихт радостно закивал:

– Да, да! Чрезвычайно дорог – с учетом трудовых затрат. И – теперь я скажу вам нечто действительно занятное – католическая церковь пошла на то, чтобы переход от старой веры к новой совершался постепенно! – Захлопнув атлас и отложив его в сторону, Ульбрихт предположил, что, когда папское духовенство столкнулось со строптивыми северянами, оно выбрало путь наименьшего сопротивления и согласилось на исповедание древних скандинавских верований параллельно католической вере. – Теперь вы поняли, к чему я клоню, – сказал Ульбрихт. – Скандинавский пантеон восходит к нашей великой мифологии. Изумительные повествования и представления о валькириях, об Одине, Торе, Локи, легшие в основу величественного вагнеровского Кольца, – вся наша единая северогерманская культура продолжила существование в христианских церквях. В проповедях древних богов, конечно, не упоминали, но вера в них присутствовала как фон, как своего рода теневая религия! Она приняла форму резных украшений, скульптур, замаскированных рунических надписей, порталов, украшенных великолепной резьбой по дереву. Постепенно большинство церквей утрачивали свои нордические элементы, но некоторые немногие, – произнес он таинственно, – оставались до последнего времени храмами, посвященными двум богам сразу, и тем самым они служат старейшей сохранившейся иллюстрацией древней германской веры.

– А теперь, получается, все это разрушают? – нахмурился представитель бургомистра.

– Мало того! – Ульбрихт развел руками. – Предают поруганию! Церковные шпили сдергивают на землю канатами, кованые детали переплавляют на подковы, двери ризниц устанавливают на входе в хлев, свинцовое стекло вставляют в окошки дворовых уборных, расписные стены колют на щепки для растопки печей. Повсеместно в Норвегии крушат все, что являет собой вершину строительного и художественного мастерства. И наш долг – вот посмотрите-ка... – сказал профессор, взяв наконец в руки иллюстрированный фолиант, чтобы можно было прочитать его название, тисненное золотом на кожаном переплете: «Выдающиеся памятники раннего деревянного зодчества на внутренних территориях Норвегии».

Он перевернул плотную желтоватую страницу, явив первую иллюстрацию.

– Великолепно! Феноменально! – воскликнул Герхард в наступившей тишине. Рисунок представлял собой настоящий шедевр, доказательство того, что действительно хороший карандашный рисунок может произвести сильнейшее впечатление даже на самого пристрастного

ценителя искусств. Но рисовальщик и мотив выбрал под статью своему дарованию. Церковь в Боргунде – величественное, гармоничное сочетание остроконечных элементов крыши, орнаментов, взмывающих в небо шпилей и ощерившихся драконьих пастей. Этот стиль был так же чужд ему, как архитектурные достоинства дворца персидского правителя, но это был настоящий шедевр, разительно отличавшийся от нарядных общественных зданий и вилл, которые он сам мечтал проектировать. Вид этой церкви задел в нем какую-то струну; она будто восстала из глубин непокорного и пылающего мира, служа связующим звеном с эпохой саг и ее кострами, с выхваченными из ножен мечами, над которыми властвуют силы ночи и моря.

Профессор Ульбрихт показал следующий рисунок, на котором была изображена кирха Урнес, сказав:

– Обратите внимание на подпись. Это не Даль рисовал, а один из его учеников, некий Франц Вильгельм Ширтц.

Задержав взгляд на Герхарде, он рассказал о норвежской церкви, которую под присмотром господина Ширтца разобрали и транспортировали в Берлин, где предполагалось ее вновь сложить. Однако планы изменились, и церковь собрали в Шлезвиге, в Исполинских горах. Ульбрихт рассказал, каких трудов это стоило, и добавил, что церковь стоит там по сию пору.

– Это Далю удалось. Но он был разочарован тем, как приняла его альбом публика. Мало кто купил его, и ни одна норвежская библиотека не пожелала приобрести хотя бы экземпляр.

Он осторожно пролистнул страницы назад, до предисловия, и процитировал слова Даля о его поездках по родной стране:

– «Когда я вновь посетил Норвегию в 1834 г., на месте большинства этих древних церквей стояли новые деревянные здания, совершенно заурядные. Уже у корней дерева дожидается топор, приговор оглашен».

Профессор рассказал, что Даль строил и более далеко идущие планы, но нехватка времени и денег помешала их осуществлению. Он пристально посмотрел Герхарду Шёнауэру в глаза и, выдержав многозначительную паузу, извлек откуда-то толстую архивную папку.

– И вот я, как джинн из бутылки, могу побаловать вас неопубликованными рисунками Даля.

Ульбрихт походя показал церкви в Рингебу и в Ломе, хотя Герхард охотно рассмотрел бы их подробнее, но профессор листал бумаги дальше, пока не развернул рисунок с изображением церкви, весьма похожей на боргундскую, и произнес благоговейно, словно после долгих скитаний достиг вершины, откуда открывается прекрасный вид:

– Вот она. Одна из самых прекрасных. Бутангенская кирха. В дальнем уголке страны, в глубинке, где бродят медведи и волки. Она осталась в полной неприкосновенности.

Все сгрудились вокруг стола плечом к плечу. Кастлер издал глубокое оживленное «гм-м-м!», словно ему после долгого ожидания повязали на шею салфетку и поставили перед ним блюдо с обедом. Облик этой церкви был еще более выразителен, чем боргундской. Углы заостреннее, головы драконов – не просто стилизованные плоские изображения, а крупные трехмерные скульптуры с длинными извивающимися языками, направленными во все четыре стороны света. Но главной особенностью этой церкви оказались резные украшения. Галереи и коньки крыши были сплошь покрыты орнаментами, но наиболее сильное впечатление производила входная группа фасада, декорированная настолько оригинально, что ей отвели целый разворот. Резьба была достойной того, чтобы отлить ее в золоте: безудержная фантазия, материализовавшаяся с невероятной точностью. Более впечатляющего шедевра Герхард не видел. Резной декор кишел сказочными животными и покрытыми чешуей ящерами, а вокруг входа обвился гигантский змей, разинутая пасть которого была направлена вовне.

– Этот портал являет собой образцовый пример того, как отправлялась языческая вера, – сказал Ульбрихт. – Сам дверной проем низок и тесен, едва больше чердачного люка. Эти великолепные резные фигуры служили преградой для сил зла, не давая им проникнуть в церковь, –

чистая прагматика. Напуганным фигурами духам не удавалось проскользнуть внутрь вместе с прихожанами. Норвежцам казалось, что распятия или Андреевского креста недостаточно, требуется чудище вроде этого, – показал он на змея с оскаленными зубами.

– Боже милостивый, это потрясающе, – произнес представитель бургомистра. – Никогда не видел ничего подобного. Такое мощное сочетание веры и оригинальности. Мы обязаны сохранить ее.

Герхард осмелился проговорить:

– Единственное, с чем я могу это сравнить, – кошмарные создания Иеронима Босха. Здесь же удалось достичь подобного эффекта при помощи долота. Невероятно! Великолепно!

– А к этой церкви к тому же, – добавил профессор Ульбрихт, – прилагается дополнительное сокровище – два овечьих легендой церковных колокола: такое деньгами не оценишь.

Трое господ примолкли. Кастлер пристально смотрел Герхарду в глаза. Взгляд у него был гипнотизирующий, словно у рептилии, но Герхард решил, что, видимо, тот слишком сжился с изображением дракона у Даля. Кастлер так и не поведал, почему саксонский королевский двор уделяет этому делу столь пристальное внимание. Герхард сообразил: ожидают, что он должен сам догадаться.

Ну конечно, кивнул Герхард. Королева Саксонии, Карола Шведская, – дочь наследного принца Швеции, шведка по рождению. Церковь находится на ее родине. Или там союз какой-то у них?

– Так точно, студент Шёнауэр... – сказал Кастлер и, причмокнув, добавил: – Придется вам, похоже, поскорее выучить норвежский.

\* \* \*

Три вечера в неделю он ходил на Лейбништрассе брать частные уроки. Герр Лорентцен, одутловатый датчанин, говорил на «почти норвежском» языке. Целью себе они ставили овладение строительной (окно, крыша, стена) и имеющей отношение к трудовому процессу (быстрее, рабочее время, дорого) лексикой, а также словами и выражениями, связанными с конными перевозками (недоуздок, шипы, сено), и общением с местными жителями (доброе утро, сельдь, за ваше здоровье). Вскоре Лорентцен уже хвалил ученика за произношение и овладение словарным запасом.

Оптимизм Герхарда подкрепило и попавшее ему в руки последнее издание «Майеровского словаря-компаньона в поездке и дома» – удачно скомпонованной комбинации путеводителя и разговорника в прочной обложке из коричневого переплетного картона, с превосходными складными картами. Герхард продолжал посещать лекции в Академии художеств, читал литературу о скандинавской мифологии, изучал оперы Вагнера. Получив деньги на теплую одежду и рисовальные принадлежности, он съездил в Исполинские горы – присмотреться к мачтовой церкви – и констатировал, что там при ее возведении дали волю фантазии. Герхард спросил Ульбрихта, не стоит ли попросить фотографа запечатлеть церковь в Бутангене.

– Фотоснимки? – возмутился профессор, да так, что при каждом слоге его внушительный живот колыхался. – Эти так называемые фотографические камеры видят только то, что видит глаз. А вы должны постичь саму суть здания. Бережно акцентировать ее, направляя наш взгляд на самое существенное. Линии должны быть четкими и точными, в соответствии с оригиналом. Хорошая бумага из-под лучших прессов Лейпцига и чернографитные карандаши Фабера той твердости, какую вы считаете необходимой, – вот что вам потребуется!

Вознаграждение ему посулили щедрое.

– Но куда важнее слава, – сказал Ульбрихт. – Со следующего года имя Шёнауэра станет знаменитым. Подвиг спасения этой церкви войдет в историю!

С Сабинкой он теперь виделся реже. Их объятия перестали быть такими крепкими, длительными и откровенными, как раньше. Им было все труднее найти тему для разговоров, и под конец беседы практически сошли на нет. Сабинка нашла другого; настала весна, Герхард сдал ключи от квартирки на Лерхенштрассе и уехал. Всего через пару часов после того, как надраженный до блеска локомотив сдвинул с места вагоны на Богемском вокзале Дрездена, Шёнауэр сошел в Гамбурге и вечером того же дня поднялся на борт идущего в Кристианию парохода. Через двое суток после отплытия он ступил на берег и застыл там, вдыхая запахи, распространяемые современным транспортом, терпкой солоноватой воды, машинного масла и дыма от сжигания каменного угля. Дал себе время осмотреться и подумать: «Вот я здесь стою со своими тремя чемоданами, и отсюда я вернусь домой с мачтовой церковью».

Кристиания оказалась милым провинциальным городком. От пристани в бухте Бьёрвика он всего за десять минут добрался пешком до частного пансиона сестер Шеэн на улице Принсенгате и констатировал, что номер его обставлен аскетично, матрас жесток, но пол, ночной горшок и тазик для умывания начищены до блеска и пахнут нашатырем. При выписке из пансиона он получил квитанцию, заполненную таким красивым почерком, что решил сохранить ее. Позже благодаря этой квитанции будет спасена человеческая жизнь, но ни самому Шёнауэру, ни сестрам Шеэн не доведется узнать, что при некоторых обстоятельствах красивый почерк может оказаться решающим фактором в чьей-либо судьбе.

\* \* \*

Чем ближе к Гудбрандсдалу, тем реже объявлялись остановки и хуже соблюдалось расписание. Поезд с дребезжанием взобрался к Хамару, откуда Герхард намеревался отправиться дальше на север колесным пароходом. Но обширное озеро все еще сковывал лед, и продрогшему Шёнауэру пришлось трястись до Фоберга на двуколке. Там он переночевал в холодной узкой комнатенке. Власти, надо отдать им должное, приложили усилия к организации регулярного движения в долине и утвердили постоянные маршруты для дилижансов, но повозка опаздывала все сильнее, а дорога с каждой милей становилась все хуже. В весеннюю распутицу дорожное полотно развезло, экипаж подсакивал на кочках, скользил боком, и в какой-то момент из него вывалились чемоданы. В попутчики Герхарду попались два английских геодезиста с висячими усами. У них оказалась с собой бутылка виски «Белая лошадь», они предложили выпить и Герхарду, но большую часть пути по тесной и темной расселине все провели в молчании. Наконец перед ними раскинулась широкая долина, склоны которой от протекавшей по дну реки и до самых вершин были заняты многочисленными хуторскими хозяйствами. На горизонте над вершинами елей стояло яркое солнце, освещающая широкую заледеневшую реку, сформировавшую этот рельеф. С каждым поворотом дороги природа выглядела все более величественной, и Шёнауэра посетила эйфорическая мысль, что он первый из своего круга видит эти места. Каждый новый пейзаж вселял в него непреодолимую потребность выскочить из дилижанса и запечатлеть эту красоту на рисунке, но за этим видом тотчас следовал другой, еще более экзотический, и Герхард понял, что можно прожить здесь много лет и не исчерпать всех мотивов.

Солнце светило слабее, ветер усиливался. Ближе к вечеру Шёнауэра высадили возле фовангской церкви. Уговор был, что у конной станции его встретит кто-нибудь из Бутангена, скорее всего сам пастор. Погода была серая, промозглая, Герхард сильно проголодался, дверь в церковь оказалась заперта, пастора было не видать. Саму церковь, вероятно, недавно реставрировали, выполнив самое необходимое, но не более того. Такими он представлял себе церкви в прериях Америки.

Герхард побрел по снежной каше, задаваясь вопросом, туда ли он приехал. Чемоданы набухли от воды. Наконец он выбрался к хутору, где занимались еще и извозом, но вышел к

нему только мальчуган, повторявший одну и ту же фразу, что, мол, скоро кто-нибудь придет. Никто не приходил, но Герхарду досталась миска ячменной каши.

В конце концов перед ним появился сообразительный на вид молодой мужчина, и Герхард спросил его, куда идти, чтобы попасть в Бутанген. Вопрос свой он повторил четыре раза, произнося слова на разные лады и начав уже сомневаться в том, что курс норвежского языка стоил потраченных денег. В конце концов мужчина показал на узкую расселину в отвесной горной стене, обрисовав в воздухе дугу в знак того, что искомое место находится за перевалом.

– Стёжкой иди, – сказал мужчина.

Герхард слово «стёжка» слышал впервые. День уже клонился к вечеру, но он подумал: ну и ладно, значит, так суждено! Можно есть снег. Не так уж и холодно. Пещеры полны сокровищ, охраняемых циклопами. Ну что ж, это самое начало, пусть и утомительное. Об этих передрыгах можно будет поведать, разъезжая по Германии с лекциями о норвежских средневековых кирхах: забавный анекдот о серой погоде, боли в спине и вспотевших ногах.

\* \* \*

Через час воодушевления от преодоления трудностей у Герхарда поубавилось. Дорога была изрыта колесами, зарядил мелкий дождь, и временами было вовсе не разобрать пути. Тащить три чемодана оказалось неподручно. На каменной осыпи Шёнауэр потерял дорогу, долго крутился на одном месте и был вынужден повернуть назад. На склонах снег таял, но в тени под ногами ощущался твердый наст. Нигде не было никаких указателей, но по пути ему постоянно попадались небольшие кучки камней.

Потом тропинка вообще пропала. Уже темнело, и он не знал, что делать. Сзади него послышались два женских голоса. Женщины работали: они шли и на ходу наклонялись, поднимая с земли камни и бросая их в кучки. Когда он произнес «Бутанген», они не остановились, но кивнули. Женщины шли быстро, продолжая бросать камни предпочтительно в самые небольшие кучки. Герхард, постепенно отстававший от них, понял, что так они ограждают кромку дороги – наверное, не только ради приезжих, но и ради местных жителей. Шёнауэр шел за ними, и внезапно перед ним раскинулось широкое озеро, а за ним, должно быть, как раз находился Бутанген! Сумерки сгустились в синеву; никогда раньше он не видел подобного освещения, и его безудержно потянуло рисовать.

По склонам долины лепились мелкие хутора. Всюду царил странный покой: лишь кое-где горели едва заметным желтым отсветом окна. Вдали вздымались горы со снежными вершинами. Но что это! Неужто она? Да! На небольшом выступе спускающейся к озеру горы едва угадывались остроконечные очертания темного строения.

Та самая церковь!

Потеряв женщин из виду, он долго не мог найти дорогу вокруг вытянутого в длину озера. Пока он пробирался через лес, тьма сгустилась, и, поднимаясь к селу, он уже скорее угадывал, чем видел абрис шпиля на фоне неба. Он не собирался сейчас подходить ближе, хотел разглядеть все при дневном свете. Обливаясь потом, едва удерживая в руках чемоданы, он двинулся к ближайшему дому, надеясь, что это усадьба пастора, и решил последовать принятому на родине обычаю, рассчитывая, что здесь поступают так же: подойдя к сельскому жилью поздно вечером, хозяев не будят, а, стараясь не шуметь, укладываются спать на сеновале. Лучше уж отложить встречу с пастором, который, как убеждали Герхарда, был готов «оказать любую помощь», до утра, когда удастся выспаться и отдохнуть!

\* \* \*

С ночевкой он угадал, а вот с пастором вышло неудачно. Ночью Герхард замерз, тело затекло, и когда он неуклюже выбрался на двор, отряхивая с пальто соломинки и пучки тимOFFеевки, то увидел, что из дома выходит человек в сутане со стоячим воротником.

Торопливо пожав его худую руку, Герхард сказал по-норвежски:

– Я в восторге ожидаю наступления моей существенной работы.

Пастор постоял в раздумье, словно не был уверен в правильности решения математического уравнения. Герхард ощущал неловкость: он долго заучивал эту фразу, но теперь понял, что она ему не вполне удалась ни с точки зрения произношения, ни грамматически.

– Одинокому необходимо было сюда путешествовать, – сказал Герхард. Пастор коротко улыбнулся и кивнул, и далее разговор продолжился на немецком.

– Вы, должно быть, совсем продрогли, – сказал Кай Швейгорд. – Идите в дом, я распоряжусь, чтобы вас накормили горячей пищей и дали переодеться. Чашку бульона? Супа? Мы здесь часто едим кашу, придется вам к этому привыкнуть.

– Прекрасно! Но мне бы хотелось тотчас же приступить к работе. Церковь ведь пустует, правильно я понимаю?

Склонив голову набок, Кай Швейгорд отвечал, что это, должно быть, какое-то недоразумение.

– Мне предстоит провести несколько погребальных служб, но потом мы все обсудим подробно, – сказал Швейгорд. Он отошел было на несколько шагов, но вдруг остановился, повернулся к Герхарду и спросил на правильном, но каком-то незвучном немецком: – Вас действительно прислали сюда одного?

Герхард кивнул:

– Я останусь здесь до зимы. К несчастью, никто не встретил меня там, где договаривались!

Кай Швейгорд подумал немного и вежливо возразил, что Герхард приехал на четыре недели раньше срока.

– Как на четыре недели?

– Да, тут, видимо, какое-то недоразумение. Но ведь это значит, что и времени у вас теперь будет больше.

Он попросил Шёнауэра «не торопиться пока», сказался *sehr beschäftigt* – весьма занятым – и исчез за калиткой.

Герхард Шёнауэр стоял на дворе, глядя ему вслед.

\* \* \*

Он поразился тому, насколько тут холодно. И в Германию весна пришла поздно, но здесь, похоже, до весны было еще очень далеко. Со двора ему видно было пять-шесть хозяйств с низкими бревенчатыми строениями, будто утонувшими в земле. Главное здание пасторской усадьбы представляло собой каркасный дом с горизонтальной обшивкой. Покрашенный в белый цвет, двухэтажный, вытянутый в длину. Ужасающе невыразительный. Ни намек на орнаментику или декор, если не считать скромные наличники окон.

Властная рослая дама отвела Герхарда в комнату, где он переоделся. Выйдя в пустой коридор, увидел на комодe рядом с чашкой жидкого бульона, из которой поднимался пар, сухую галету.

Норвежское представление о горячей пище.

Герхард Шёнауэр одним духом выпил бульон. На четыре недели раньше. В церкви всюю идут службы.

Он открыл один из чемоданов, достал этюдник, мольберт, рисовальные принадлежности и вышел из дома. Церковь скрывал от него выступ скалы, зато был виден один конец озера. Зрелище казалось идиллическим, без какой-либо нарочитости. Каждый рубленый дом, каждый клочок земли на крутом склоне свидетельствовали о том, что природа неохотно пустила сюда людей, но теперь у нее с ними заключено соглашение.

Послышался цокот копыт. Приближались три конные повозки с одетыми в черное людьми; чуть позади шли пешком еще несколько, тоже в черном.

Похоронная процессия. Он проводил ее глазами, немного выждал и отправился следом. Вот она показалась впереди, деревянная церковь.

На вольном просторе. Горделивая, знающая себе цену, древняя. Темно-коричневая, как лесной медведь, украшенная, как корона королевы, упорная, как пилигрим. Церковь будто пребывала в некоем ожидании, словно замок монарха, который всегда в отъезде. Она впечатляла еще больше, чем на рисунках Даля. Может быть, с того времени она слегка просела, однако все равно изумляла. Не слишком великое, но совершенное достижение, результат виртуозного мастерства и буйной фантазии, отточенных на протяжении поколений. Пока и мастерство, и фантазия по неизвестной Шёнауэру причине не вымерли.

Он подошел поближе.

Наибольшее изумление вызывала конструкция крыши. Несчетное число полукровель и четвертушек, соединенных в пленительное целое; ни одна из плоскостей не выпирает, ни одна не теряется, сменяясь следующей. Никогда он не видел ничего подобного, и даже руки у него похолодели, когда он вспомнил, что церковь собираются снести. Как можно было додуматься до такого? Он хотел закричать: такое нельзя уничтожать! Но, подойдя поближе, он ощутил в себе вороватую потребность сказать: ну что ж, церковь как церковь, – и умыкнуть эту жемчужину. В голове у него уже начал складываться первый отчет Ульбрихту. Герхард пытался сформулировать мысль о том, насколько эта церковь не похожа ни на что другое. Словно разошлись два мощных направления в архитектуре, два одинаково талантливых брата – один хотел класть кирпичи, другой валить деревья, – и вот они расстались на перекрестке дорог, и первый отправился к Нотр-Даму, а второй – сюда, и больше они не встретились.

Но что-то тут было не так. Он присмотрелся внимательнее и ужаснулся. У некоторых драконов не хватало голов! Какая трагедия! А ведь именно они служили завершением непокорных линий конструкции кровли, они своим шипением отпугивали силы зла, а после захода солнца вырисовывались драматическим силуэтом на фоне ночного неба.

Почти вся траурная процессия уже скрылась в церкви, и Герхард подошел поближе к каменной ограде, раздумывая о том, что головы драконов нужно бы на всякий случай снять и надежно хранить, предварительно как следует просушив. Случись худшее, умелый столяр-краснодеревщик сможет их воссоздать.

Внезапно он вздрогнул так, что больно вывернул шею. Его застали врасплох три раскатистых удара, таких мощных, будто они принесли из космоса. Только когда они прозвучали снова, на этот раз трижды, он понял, что это звон колоколов, сверхъестественно гулкий. Эхо отражалось от склонов гор и возвращалось более слабыми отзвуками, отзвуки смешивались со свежими минорными звонами и снова неслись в мир на манер солнечных лучей, отражающихся в призме, с каждым разом все слабее, зато большим числом. После девяти ударов отзвуки утихли, замерли, как тающая болотная дымка, но прозвучавшие ноты настойчиво твердили ему: ты предупрежден.

## Своя зимняя птица

Зачем какой-то незнакомец рисует похороны Клары Миттинг? Астрид тянула шею, чтобы разглядеть этого человека за спинами участников похорон. Как-то странно он был одет: в длинное рыже-коричневое пальто с большими карманами и восьмерками из шитья вокруг пуговичных петель. На лоб спадает челка цвета сосновых шишек, вокруг шеи повязан кусок голубой ткани. Его, похоже, вовсе не смущало, что он стоит метрах в тридцати от нестройно поющих псалом хуторян из Хекне и Миттинга. Незнакомец смотрел мимо них, будто кроме него никого на кладбище не было. Перед ним стоял большой мольберт, и время от времени он протягивал руку за чем-то из рисовальных принадлежностей, лежавших на складном столике. Из леса время от времени доносились глухие звуки, когда с елей падали на землю снежные шапки. От костра, призванного растопить промерзшую землю, тянуло дымом.

Кай Швейгорд держал в руках Библию и посеребрившее деревянное ведро с землей. Издали он всегда казался представительным и уверенным в себе, но сейчас, с близкого расстояния, в его глазах видна была растерянность. Он тоже время от времени косился на незнакомца. Вряд ли пастор может заплатить художнику за то, что тот нарисует первые похороны, проведенные по новому обряду? Тем более за картину маслом? Чтобы повесить у себя в кабинете в позолоченной раме на память о начале новой эры?

\* \* \*

Дорожный плед три долгих месяца лежал в дерюжном мешке под крышей сеновала, чтобы до него не добрались ни мыши, ни любопытные ребятишки. Иногда Астрид тайком пробиралась туда, прислонив к потолочной балке приставную лестницу. Даже в самые лютые холода она не пользовалась пледом дома – не из-за того, что он пропах скотным двором, а в общем, пожалуй, именно поэтому. Кай Швейгорд не понимал, как далеко может завести деревенских жителей любопытство. Все, хоть чуточку отличавшееся от привычного, моментально становилось добычей молвы, оценивавшей и обсуждавшей новость так дотошно, словно речь шла о том, как лучше спастись от лесного пожара.

Но Астрид нравилось завернуться в плед и сесть почитать газету, представляя себе, что газета свежая, а она сидит в пасторской усадьбе, и, самое главное, воображая, что напечатанное в газете касается и ее, что и ее мнение о союзе со Швецией и расширении избирательного права имеет значение. Эти фантазии были отчасти игрой, для которой она была уже слишком взрослой, отчасти шансом, которым скоро она уже не сможет воспользоваться, возможностью общего будущего для нее и Кая Швейгорда. В спальне Астрид и ее младшей сестры Олине стены промерзли насквозь, и ночами, когда от холода не могла заснуть, она представляла лицо Швейгорда и вспоминала о плед, под которым могла бы согреться. Так мысли о Швейгорде дарили тепло.

Иногда мечты увлекали, затягивая ее в самые жаркие дебри. Потому что, хоть Кай Швейгорд и священник, и разговаривать не мастак, он все-таки молодой крепкий мужчина с густыми светлыми волосами. Она позволяла мыслям зайти далеко, представляя себе, что они уже женаты и после ужина празднично лежат рядом, он лукаво улыбается и от него исходит приятный запах. Лежат в постели. Каково это, одинаково ли ведут себя все мужчины? Он бы ложился в отдельной спальне, а к ней приходил? Может, ожидал бы под дверью и сначала говорил что-нибудь или принято просто войти и лечь рядом? И раскрепостишься ли потом так же горячо и радостно, как когда сама запустишь пальцы в себя? Или все делается рутинно, молча, как когда бык, вздыбившись и дергаясь, кроет корову, а та жует себе траву?

Так ей думалось зимой в мечтах о лете, а сейчас холодная весна. Тогда перед мысленным взором вставали цветы, а сейчас перед глазами похороны. А он помолвлен, и все время был помолвлен, и дальше будет помолвлен.

За весну почти все запасы в амбаре иссякли, и Астрид все время хотелось есть. Будущее представлялось серым и безнадежным. Наверное, Кай Швейгорд чувствовал то же самое. Он стоял в нескольких метрах от нее и пел, и выглядел более мрачным и исхудавшим, чем в прошлый раз; в черном пасторском облачении он походил на зимнюю птицу. Он то и дело поглядывал на незнакомого художника, и она поймала себя на том, что делает то же самое. Появление чужака было самым странным из событий этого странного дня.

Вокруг все говорило о скором конце зимы. Последние горки снега оседали и крошились под лучами солнца, а на крышу галереи под стенами церкви уселись два снегиря. А вот церковный служка маловато песка набрал в устье ручья в начале зимы; тропинка, по которой шли скорбящие, покрылась подтаявшим льдом. Люди крепко держались друг за друга не потому, что горевали, а чтобы не навернуться.

Новому пастору костей перемыли изрядно. Люди были недовольны его нововведениями, намерением таскать покойников в церковь. Местные, особенно бедняки, строгаги гробы сами в меру своих способностей, и способности эти часто оставляли желать лучшего. Теперь тело подолгу будет лежать в одиночестве и гроб с покойным не обнесут три раза вокруг храма. Люди больше не смогут прощаться с покойными так, как находят нужным. Особенно их возмущало, что теперь умерших будут отпевать не дома, любовно и бережно; нет, теперь дрожащие от холода близкие лишь уныло проголосят над могилой какой-нибудь жалкий псалом. К тому же они не смогут сами выбрать удобное время похорон, чтобы не помешать хозяйственным работам. Говорили, что старый учитель Свен Йиверхауг, наездами преподававший в сельской школе и за долгие годы отпевший своим зычным голосом с сотню покойников, сорвался и накричал на пастора; что теперь придется соблюдать вдвое больше всяческих правил. Все собирались втихаря придерживаться прежних порядков, а уж пастор пусть поступает как знает, когда гроб доставят в церковь. Да и вообще, как это пастор, ранее не встречавшийся с покойным, не знавший его ребенком, не видевший его за работой, в горе и в радости, сможет что-то толковое сказать о нем? Как и почему пришлый священник присваивает себе право распоряжаться жизнью человека, когда она подошла к концу?

Но Швейгорд стоял как скала. Хоронить будут по-новому, и первой – Клару. Церемония в храме была омрачена подозрительностью и недоверием. Однако Астрид показалось, что только самые упорные строптивцы, хоть их было немало, отказывались признать очевидное: Швейгорд воздал Кларе достойные почести. Пусть его недолгая речь, посвященная скрюченной ревматизмом бедной приживалке, была чуть спутанной и не лишенной красотей, но ему удалось представить ее жизнь в благостном свете. «Вот только правда ли это?» – усомнилась Астрид. Была ли ее жизнь такой, как в проповеди Швейгорда? Он даже упомянул, наверняка без задней мысли, что Клара почила, веруя в своего Спасителя. В могильной тишине, следовавшей за этим, прозвучали только приглушенные «гм-м» скорбящих, оставивших свободным место на скамье у самой стены. Никто не хотел садиться туда, где Клара замерзла насмерть.

Но постепенно Кай Швейгорд разошелся:

– Кларе не удалось поехать по свету. Ее работой было носить воду. И она исправно выполняла ее, не меньше тридцати раз в день, сто метров до ручья и назад. Это значит, что Клара каждый божий день проходила по шесть километров, а за год, получается, добрые сто миль, так что каждый год она могла бы дойти до Москвы, отправившись на восток, или до Парижа, пойдя она на юг. Но Клара ни разу не перешла того ручья. Она оставалась здесь, в Бутангене, и сегодня мы вспоминаем ее женское трудолюбие и воздаем ему хвалу.

У родных Клары в горле встал комок. Старики закивали, и даже мать Астрид утерла слезу.

Церемония закончилась немного бестолково, поскольку никто не знал, что последует дальше: нужно ли еще что-то сказать, а если да, то кто должен это сделать. Швейгорд стоял рядом, при нем неловко было говорить без подготовки. Люди заерзали на скамьях, оглядываясь друг на друга. Но тут зазвонили Сестрины колокола, и пастор жестом пригласил тех, кто понесет гроб. Когда его подняли, колокола звонили так громко, что, даже если что-то и было задумано иначе, за их звуком невозможно было ничего расслышать. Родные Клары на всякий случай принесли с собой из Миттинга лопаты, но Швейгорд сказал, что они не нужны – могила уже выкопана.

Наконец все было завершено. Швейгорд бросил на крышку гроба пригоршню земли и начал за руку прощаться с пришедшими. Астрид присела перед ним в книксене, как перед чужим, и простившиеся бурча побрели восвояси, понурившись, поскольку не прочувствовали момент до конца. Пастор вырвал у смерти жало, и существование лишилось остроты: если нет жала, не отличишь муху от осы.

\* \* \*

Астрид сказала отцу, что домой пойдет сама. Дождавшись, когда отъедут повозки, она пошла вдоль изгороди и остановилась посмотреть, что делает художник. Тут из церкви вышел Кай Швейгорд и поспешил к человеку с мольбертом, который продолжал рисовать, хотя Швейгорд сердито размахивал руками. В словах, которыми они обменивались, Астрид не уловила никакого смысла, пока не сообразила, что они говорят на чужом языке.

Краткая вспышка света и волна тепла. Лучик того солнца, которое прячется за солнцем, знакомым издавна; лучик солнца, которое снова спряталось, едва обогрев ее.

Незнакомый человек – иностранец. Первый приезжий из большого мира, которого ей довелось увидеть.

Швейгорд с озабоченным видом вернулся в церковь. Астрид еще раньше краем уха услышала, что сразу после этих похорон пройдут следующие, а завтра земле предадут вроде бы четырех покойников: столько людей скончалось за эту зиму.

Астрид подошла к человеку с мольбертом. Она собиралась незаметно подобраться сбоку, но ей пришлось обходить сугроб, и она оказалась прямо перед ним.

Чужак сделал шаг в сторону, при этом движении взметнулась челка. Двигался он элегантно и с удовольствием, словно совершая легко дающиеся танцевальные па. Перехватив карандаш поудобнее, он приблизил открытую ладонь к мольберту, будто приветствуя большой лист желтоватого картона, надежно закрепленный, чтобы не сдуло ветром.

Это была не картина, а рисунок, и рисовал он вовсе не похороны, а церковь. Астрид встретила с ним взглядом: ему было, наверное, лет двадцать с небольшим. Кожа чуть смуглее, чем у местных. Лицо любознательное и гордое. В самом низу на листе начерчено нечто вроде масштабной линейки. Галереи и орнаменты вдоль конька крыши прорисованы в мельчайших подробностях, и шпиль тоже почти готов. Он дотошно изобразил несколько пластин drankи, переместив реальность на свою картину.

\* \* \*

Только церковь у него получилась не темной и осевшей, какую они оба на самом деле видели перед собой, а будто недавно срубленной, новой. К тому же на рисунке видно было то, что отсутствовало в действительности: восемь ошеренных драконьих голов, продолжавших линию щипца и готовящихся укусить воздух. Вокруг церкви никаких неухоженных могильных холмиков, а лишь поросший ровной травкой луг да еще ручеек, которого тут отродясь не было.

Они оба уловили какое-то движение возле церкви и увидели, что оттуда снова вышел Кай Швейгорд. Посмотрев на них, он направился к пасторской усадьбе. Незнакомец вновь обменялся с Астрид взглядом, поклонился и сказал что-то на высокопарном датском. Она потрясла головой, показывая, что не понимает.

– Колокола, – повторил он, кивнув на церковь. – Мощный звук!

Вместе с его словами до нее донесся и свежий, чуть кисловатый аромат. Незнакомец рукой показал на складной столик. Там, среди рисовальных принадлежностей, рядом с кожаной папкой с тиснеными словами «Герхард Шёнауэр», лежал мятый кулек, из которого выкатилось несколько янтарно-желтых леденцов. Астрид нарочито медлительно протянула руку, чтобы успеть отдернуть ее, если окажется, что она неправильно истолковала жест чужака, затем взяла один леденец и ушла.

## Рассыпавшиеся в прах столетия

Герхард Шёнауэр долго смотрел вслед девушке. Черты ее лица были настолько своеобразны, что ему захотелось нарисовать ее. Она производила впечатление сообразительной и не такой робкой, как другие, кого он видел этим утром. Они-то точь-в-точь соответствовали описанию в Майеровском «компаньоне»: норвежцы – высокий и сильный народ германского происхождения. Они выносливее и медлительнее шведов, но не столь флегматичны, как датчане. Производят впечатление замкнутых и подозрительных, но, если удастся завоевать их доверие, предстанут простодушными и открытыми. Норвежцы замечательные мореходы, у них лучшие в мире лоцманы.

Отложив карандаш, он провожал девушку взглядом, пока она не скрылась из виду. Участники похорон разъехались, остались только двое мужчин – видимо, звонарь и церковный служака, и Герхард терпеливо дождался, пока и они уйдут. Пастор удалился чуть раньше с едва ли не брезгливой миной на лице – только из-за того, что Герхард стоит и рисует!

Ну вот! Теперь он тут один. Наконец он увидит портал. Ожидание этой минуты поддерживало в нем мужество на протяжении всего долгого и тяжелого пути сюда. Конечно, целостное впечатление от сооружения очень важно, но портал со всем, что на нем отображено – фантастические животные, вера в Бога, – это произведение искусства, слившееся воедино со зданием и предназначенное оберегать его от сил зла; для художественной натуры Шёнауэра это как большущий пакет камфорных леденцов. Портал нужно будет рассмотреть с чувством, толком и расстановкой.

\* \* \*

К тому же Герхард не сразу смог успокоиться. Когда раздался звон колоколов, он, вздрогнув, оцепенел. Будто из пушки палили. Беспокойство не отпускало, даже когда звон стих, и Герхарда вдруг осенило: это из-за тишины. Он прожил в шумном Дрездене несколько лет: стук подбитых железом колес экипажей на брусчатке, крики рыночных торговцев – широкая гамма шумов, в которую он погружался, выйдя из дома. Здесь же все звучало столь приглушенно, что он легко смог бы убедить себя, что никакого Дрездена на свете не существует. Есть только звуки природы. Ржание лошади в конюшне, всплеск воды в лужице, по которой пробежал мальчик. Где-то далеко в лесу удары топора.

Пока шла похоронная служба, Герхард расставил мольберт и штрихами набросал очертания церкви. Прислушался к звукам, доносившимся из храма. Проповедь на угловатом норвежском языке, неуверенно начавшийся псалом – все это в общем и целом вдохновляющие, естественные звуки для его работы, и первый эскиз церкви получился весьма многообещающим.

Оставив мольберт, Герхард подошел к церкви и провел рукой по нагретой солнцем стене. Никогда раньше ему не доводилось прикасаться к таким старым доскам. Они покорежились, потрескались; на коже от них оставались желтоватые круги абсолютно сухой мелкой трухи. Он знал, что это высохшая смола. Можно сказать, физический эквивалент рассыпавшихся в прах столетий. Возраст не оставляет следов на камне, ведь камень сам по себе продукт возраста; но в дереве возраст проявляет себя, как в человеческом лице. Балки основания просели и прогнулись, вжались в камни. Древесина демонстрировала бесконечное множество оттенков цвета, где-то напоминая шкуру гнедого коня, а где-то – вороного, в зависимости от того, какие природные силы воздействовали на нее: лучи жаркого солнца или тень, дождь или снег, а смола, которой ее обрабатывали на протяжении столетий, летом постепенно сочилась вниз, а ближе к зиме застывала.

Неспешно обойдя галерею, он приблизился к каменным ступеням, ведущим к отворенной входной двери, и, отсчитав нужное число шагов и отмерив нужные углы, чтобы оказаться прямо перед входом, зажмурил глаза и осторожно двинулся вперед. Сделал несколько шагов к порталу, расположенному, как ему было известно, сразу за папертью. Постоял немного с закрытыми глазами. Наконец-то ничто не нарушало его покой; когда-нибудь в своих лекциях о норвежских средневековых церквях он будет с выдумкой и темпераментом рассказывать об этом мгновении, о том, каковы были его первые впечатления, когда он увидел портал, который ошеломил бы самого Иеронима Босха.

Герхард открыл глаза. Но?

Никакого портала там не было!

Он застыл на месте, упершись взглядом в здоровенную двойную дверь, выкрашенную в черный цвет. Она была подвешена к топорно отесанным просмоленным доскам дверного проема на грубо выкованных длинных петлях. Ни малейшего намека на резьбу, которую в свое время зарисовал Даль. Фантастических животных извели, от них не осталось и следа.

Шёнауэр попробовал повернуть дверную ручку.

Да что же это такое? Пастор запер церковную дверь.

## Слово с подковыркой

Подходя к калитке, ведущей на Пасторку, Астрид Хекне еще досасывала леденец. Камфора. Занятно, будто парусник на фоне солнца. Ей доводилось пробовать камфорные леденцы, когда их завозили в лавку; но по причинам, в которых сама пока не разобралась, она подождала, пока леденец совсем не растает, а уж потом ступила в усадьбу.

Дразнящий вкус вызвал к жизни воспоминания. Сколько ей было, лет десять? А то и двенадцать, но не больше. После ужина отец с таинственным видом извлек на свет кулек из серой бумаги, прошел вокруг стола и положил по одному леденцу перед матерью, каждым из детей и велел им пока не трогать гостинец. В кульке больше ничего не было, себе отец леденца не оставил. Сначала Астрид подумала, что это сахарные карамельки, но леденцы отливали золотом на выдавшей виды деревянной столешнице. Отец днем вернулся с ежегодной ярмарки; свой леденец он, должно быть, съел там и спросил у продавца, как их делают. Потому что, когда разрешил им попробовать леденец, он рассказал, что камфорное масло добывают из дерева, растущего во французском Индокитае. Древесину размалывают и варят на пару, а пар как-то собирают в сосуды, где он застывает каплями. Тем вечером она один-единственный раз заметила у отца мечтательный взгляд – когда он произнес «французский Индокитай», один-единственный раз он забыл свою досаду из-за Нижнего ущелья и старого выгула Хекне.

– Хочу туда! – воскликнула Астрид. – Буду делать леденцы. Там, в Индо...

Но она слишком оживилась, рассказывая, как этого хочет; так оживилась, что нечаянно проглотила леденец, только начатый и потому с еще острыми краешками, и почувствовала, как он царапает ее, проваливаясь в живот, где вкус и не почувствуешь, где одни только серые кишки, поглощающие еду. Все смеялись над ней, досасывая свои все еще большие леденцы, и мать тоже. Она надежно спрятала свой под языком и сказала, причмокивая:

– Думаю, это тебя научит довольствоваться тем, что имеешь.

\* \* \*

Леденец во рту у Астрид таял. Округлый и гладкий, как галька в ручье, он постепенно уменьшился до размеров зернышка, потом вовсе исчез, вкус же еще ощущался. Астрид протянула было руку к калитке, но передумала и быстрым шагом двинулась к Хекне. Скоро она нагнала других, кому не хватило места в повозке, проскочила мимо них и побежала вверх, к хутору. Там она шмыгнула на сеновал и достала мешок с газетой и дорожным пледом. Сквозь щели в бревенчатых стенах она видела, что отец и мать пошли в дом, а работники остались распрягать лошадей. Астрид проголодалась, у нее заболела голова, но требовалось сделать это сейчас.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.